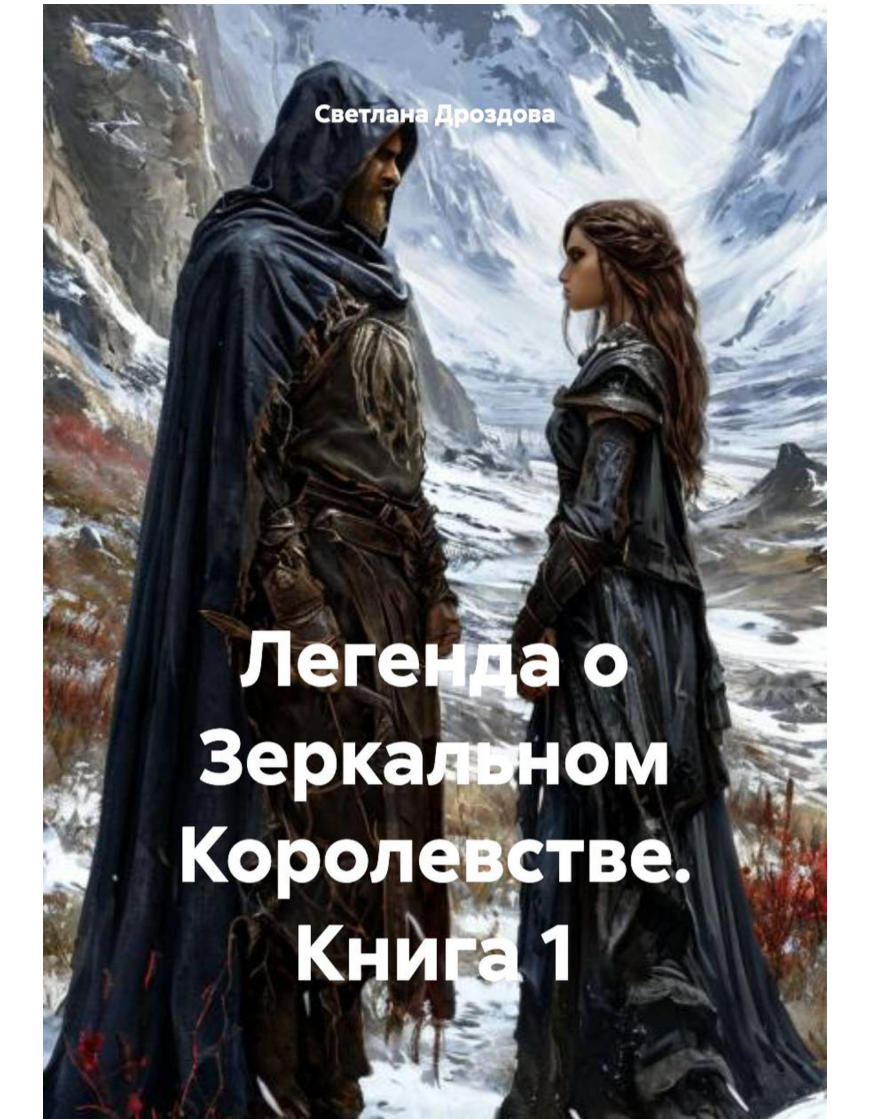




Светлана Дроздова

**Легенда о
Зеркальном
Королевстве.
Книга 1**

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 1

<https://litres.ru/73994551>

SelfPub; 2026

Аннотация

Эйнар — охотник, проклятый даром видеть смерть в любом отражении. Люди изгнали его, назвав Мороком, Сыном Пепла. Он привык к одиночеству, но однажды видение приводит его к раненой незнакомке Ирис — беглянке из таинственного Ордена, чьё тело исцеляется быстрее смерти, а тень почти исчезла.

Вместе они идут на восток, в Ничейные земли, где древний Распад стирает границы между жизнью и отражением, прошлым и будущим. Здесь прах заменяет снег, вода не отражает небо, а тени живут без хозяев.

Их преследуют: крестьяне Терновой Гривы, ищущие козла отпущения, и безликие убийцы Ордена. Но главная опасность — внутри. Дар Эйнара растёт, показывая не только смерти, но и память умирающей земли. А тело Ирис всё быстрее забывает, что значит быть человеком.

«Сын Пепла» — это суровая северная сага о двух изгоях, бегущих на край света, чтобы узнать правду: можно ли выжить

там, где умирают даже отражения. И стоит ли возвращаться, если единственный дом, который у тебя был, выгнал тебя в снег.

Светлана Дроздова

Легенда о Зеркальном Королевстве. Книга 1

ГЛАВА 1. ТИШИНА ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Часть первая: Пробуждение

I

Он проснулся за два часа до рассвета, как всегда.

Не от холода — хотя холод был, липкий, пробирающий сквозь дерюгу и овчину, — а от той внутренней дрожи, которая приходила ровно в тот момент, когда мир за стеной хижины становился абсолютно тихим. Не тихим, а пустым. Будто кто-то выключил звук небрежным движением пальцев, забыв, что внутри ещё кто-то есть.

Эйнар открыл глаза и несколько мгновений не двигался.

Над головой — потолок из грубо обтёсанных брёвен, законопаченных мхом. Мох местами вывалился, и сквозь щели сочился не свет — звёзд было мало, — а само ощущение

ночи: сырость, тяжесть, почти осязаемое давление воздуха. Он лежал на спине, подложив ладони под затылок, и смотрел в эту темноту, различая в ней знакомые очертания: балку, прогнувшуюся под тяжестью снега; сучок, похожий на птичью лапу; тёмное пятно копоти, которое тянулось от печи к потолку и растекалось там, как чернила в воде.

Правая рука, лежавшая поверх одеяла, онемела. Он пошевелил пальцами — иголки, как после долгого сидения в неудобной позе. Знакомое чувство, почти приятное в своей предсказуемости. В этом мире, где всё было зыбким и ненадёжным, даже онемевшие пальцы были чем-то постоянным.

Печь в углу догорала. Красноватые угли едва подсвечивали комнату — тусклым, пульсирующим светом, который то разгорался, то угасал вместе с ветром, задувавшим в дымоход. Но Эйнар не смотрел на печь — он повернул голову в другую сторону, туда, где на грубо сколоченной полке стояло ведро.

Ведро было накрыто тряпкой.

Он выдохнул — медленно, беззвучно — и только после этого сел.

Овчина сползла с плеч, и ночной воздух сразу нашёл об-

нажѐнную кожу, обжѐг её тысячей крошечных игл. Эйнар не поѐжился. Он вообще редко ѐжился. Живя на отшибе Серых Холмов, где ветер гуляет свободно, а стены хижины держат тепло хуже, чем решето — воду, привыкаешь к холоду как к соседу, с которым не здороваются, но и не ссорятся. Ты просто принимаешь его существование как данность, как то, что небо серое, а снег белый, и не ждёшь, что когда-нибудь это изменится.

Он свесил ноги с лежанки.

Лежанка была сколочена из досок, которые он сам выстругал из поваленной сосны. Доски были неровными, с заусенцами, и каждое движение отзывалось скрипом. Эйнар знал этот скрип во всех его оттенках — жалобный, когда садишься с краю; низкий, басовитый, когда ложишься в центре; сухой треск, если резко повернуться. Лежанка была старше его — он нашѐл её в этой хижине, когда впервые переступил порог десять лет назад. Тогда она уже скрипела. Она будет скрипеть и после него.

Пятки коснулись земляного пола — холодного, утрамбованного, с мелкой каменной крошкой, которая набивалась в трещины подошв и напоминала о себе каждый раз, когда шѐл босиком. Сейчас он был в шерстяных носках, штопаных в трёх местах, и всё равно чувствовал, как холод поднимает-

ся от ступней вверх, по икрам, по коленям. Холод не поднимался выше — тело привыкло отсека́ть его где-то на середине голени, превращая в глухую, но терпимую тяжесть.

Спать больше не хотелось. Он и не пытался.

Эйна́р сидел на краю лежанки, ссутулившись, и смотрел в одну точку — в щель между брёвнами напротив. Там, в темноте, ничего не было. Он знал, что ничего нет. Но смотрел.

Так проходила первая минута утра.

На второй минуте он перевёл взгляд на свои руки.

Руки лежали на коленях — большие, жилистые, с узловатыми пальцами и тёмными каёмками под ногтями. Кожа была грубой, в мелких трещинах и мозолях. Левая кисть — шрам от ожога, полученного три года назад, когда он вытаскивал горящий уголёк из костра голыми руками. Правая — след от ножа, порезался чистя рыбу, глубоко, до кости, зашивал сам, криво, иглой для мешковины.

Он изучал свои руки, как изучают старую карту, на которой каждая линия что-то значит. Эти руки убили сотни зверей. Эти руки держали копье, когда он был ещё мальчишкой. Эти руки вырыли могилу для матери, когда никто другой не

пришёл.

Он сжал пальцы в кулаки, разжал. Сжал. Разжал.

Кровь прилила к кончикам пальцев, и онемение отступило.

Он поднялся.

II

Печь занимала почти треть хижины — массивное сооружение из камня и глины, сложенное ещё до того, как Эйнар поселился здесь. Старая, в несколько слоёв обмазанная, с прогоревшим подом и трещинами в своде. В трещины была напихана глина, смешанная с золой, — каждый год он заделывал их заново, но печь упрямо трескалась в старых местах, будто вспоминая свои раны.

Он присел на корточки перед топкой, приоткрыл заслонку. Глаза защипало от дыма — тонкой струйкой, которая всё ещё тянулась из углей, несмотря на то что огонь почти погас. Он подул на угли, раздувая их, — багровое свечение вспыхнуло ярче, на мгновение осветив его лицо снизу, как факел в склепе.

Эйнар замер.

В этом свете, на полированной поверхности старого горшка, стоявшего у печи, он мельком увидел своё отражение.

Всего на секунду.

Бледное, измождённое лицо. Тёмные круги под глазами. Глубокая морщина между бровями — он даже не заметил, когда она появилась. Волосы, давно не стриженные, падали на лоб, слипшиеся, сальные. И глаза — серые, почти бесцветные, с острым, внимательным взглядом, который высматривал опасность там, где её не было.

Он отвернулся.

Сердце стукнуло раз, другой — и успокоилось.

Он не боялся своего лица. Он боялся того, что может увидеть в своём отражении, если посмотрит слишком долго. Видения приходили не всегда, но когда приходили — через воду, через полированный металл, через любое зеркало, — они были резкими, болезненными, как удар ножом между рёбер. Иногда он видел свою смерть. Иногда — чужую. Иногда — то, что не мог объяснить: образы, которых не было в реальности, или реальность, которая станет такой через минуту,

через час, через год.

Он не знал, как это работает. Знал только, что это проклятие.

Он опустил руку в карман куртки, висевшей на спинке скамьи, и достал кремень.

Кремень был чёрный, гладкий, с острыми краями. Он ударил им о кресало — раз, другой. Искра упала на трут, затле-ла, и он осторожно подул, раздувая огонёк. Трут — сушёный гриб-трутовик, мягкий, волокнистый, — занялся быстро. Он положил его под щепки, подул ещё, и через минуту в печи уже весело потрескивал небольшой огонь.

Он подбросил три полена — тонких, кривых, заготовлен-ных ещё с осени, — и подождал, пока пламя лизнёт сухую кору.

Поленья были берёзовые. Берёза горит жарко, но быстро, оставляя после себя много золы и мало углей. Он знал это, но других дров у него не было — сосна уходила на строи-тельство, осина давала слишком много дыма, а дуб на Серых Холмах не рос. Приходилось экономить: три полена утром, три вечером, и ни одним больше.

Пламя взметнулось, жёлтое и неровное, выхватив из темноты куски пространства: стену с вбитым в неё гвоздём, на котором висел лук; полку с глиняными мисками; тряпичный мешок с мукой, перетянутый кожаным ремешком; связку сушёных трав под потолком.

И ведро.

Он снова посмотрел на ведро.

Тряпка лежала ровно, не сбилась, не сползла. Он сам проверил её вчера перед сном — и позавчера, и три дня назад. Он проверял её каждый раз, когда его взгляд падал на блестящую поверхность. Не потому, что боялся — бояться он перестал много лет назад, когда понял, что страх не защищает, а только отнимает силы, — а потому, что привык.

Привычка была сильнее страха.

Привычка была всем, что у него осталось от нормальной жизни.

В деревне, куда он ходил раз в месяц за солью и новостями, люди крестились при виде него. Матери отворачивали лица детей. Мужчины сплёвывали через левое плечо. Его называли «сын Пепла», «Морок», «глазастый». Кто-то шептал,

что он приносит несчастье. Кто-то — что он сам — несчастье, ходячее, в рваных сапогах и старом плаще.

Он не спорил. Не доказывал. Просто забирал своё и уходил.

Здесь, в хижине, не было никого, кто отворачивался. Не было зеркал, в которых можно было увидеть чужую смерть. Только тишина. Только холод. Только он сам и его привычки.

Он повернулся к печи спиной, чтобы согреть поясницу, и начал одеваться.

III

Одежда лежала на низкой скамье у лежанки — сложенная, приготовленная с вечера. Он одевался в строгом порядке, не меняя последовательности уже много лет. Порядок был его якорем, его молитвой, его способом удерживать реальность в границах.

Сначала — нательная рубаха из грубого льна. Серая, многократно стиранная, с заштопанной дырой под мышкой и вытертым воротом. Лён охлаждал кожу, когда он надевал его, но через минуту нагревался от тела и становился почти неосязаемым. Рубаха пахла дымом и чуть-чуть — кислым запахом

давно нестиранной шерсти, который въелся в ткань намертво и не выводился даже в кипятке.

Потом — шерстяная куртка на застёжках из кости. Кость была оленья, гладкая, тёплая на ощупь, без единой царапины. Эйнар сам вырезал эти пуговицы зимой, когда буран завалил дверь на три дня и делать было решительно нечего. Он сидел у печи, при свете масляного светильника, и вырезал их ножом, одну за другой. Семь штук. На седьмой он поранил палец, и пуговица стала розовой от крови, но он всё равно вшил её в куртку — как напоминание о том, что даже в самые долгие бураны можно сделать что-то полезное.

Куртка была ему великовата — он достал её с убитого охотника много лет назад и так и не перешил. Но он привык к этой лишней ткани, к тому, как она собирается складками на поясе, как надувается ветром, когда идёшь против снега. В ней было тепло, а это главное.

Потом — штаны. Тоже шерстяные, с кожаными вставками на коленях. Кожа была старая, дублёная, с тёмными пятнами от времени. Вставки он сделал сам, когда протёр колени, пробираясь сквозь заросли сухой малины. Штаны держались на широком ремне из сыромятной кожи — без пряжки, просто завязанном узлом. Узел он проверял каждый раз, затягивая его с силой, чтобы не ослаб.

Потом — портянки.

Портянки он менял каждый день. Свежие, из вчерашней стирки, сухие и жёсткие. Портянки были льняными, намотанными особым способом, который показал ему отец: сначала вокруг пальцев, потом через подъём, потом вокруг щиколотки, каждый слой внахлёст. Если намотать правильно — нога не натирается, даже если идти весь день без остановки. Если неправильно — через час будут мозоли, через два — кровавые волдыри, а в пути это почти верная смерть.

Он наматывал портянки медленно, сосредоточенно, как монах, читающий молитву. Каждый виток — с определённым усилием. Каждый слой — строго под определённым углом. Он закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и наматывал на ощупь, доверяя пальцам больше, чем зрению.

Портянки легли идеально.

Он открыл глаза и взялся за сапоги.

IV

Сапоги были старые — очень старые, сбитые, со стоптанными каблуками и заплатками, которые налезали одна на

другую. Кожа давно потеряла цвет, потемнела от пота и снега, стала жёсткой, как кора. В некоторых местах она треснула и топорщилась, обнажая внутреннюю подкладку — войлок, свалявшийся в комки.

Но подошва держалась крепко. Подошва была подбита железными шипами — короткими, тупыми, не блестящими. Шипы вгрызались в лёд, не давая поскользнуться. Эйнар сам ковал их прошлой осенью, выстукивая молотком на самодельной наковальне — плоском камне, врытом в землю у порога.

Он сунул ногу в сапог — сначала левую, потом правую, — и потянул на себя шнуровку. Шнурки были из сыромятной кожи, тонкие, крепкие, пропитанные жиром, чтобы не перемерзали. Он затягивал их туго-туго, чувствуя, как сапог обхватывает голень, как пальцы ног упираются в мягкую подстилку из соломы и мха.

Он пошевелил пальцами внутри сапога — свободно. Солома мягко пружинила под ступнёй.

Хорошо.

Он встал, притопнул — глухой, уверенный звук. Сапоги держали.

Он всегда чувствовал себя увереннее в сапогах. Без них он был уязвим, как улитка без раковины. С ними — он мог идти куда угодно, хоть в Ничейные земли, хоть на край света.

Он подошёл к стене, взял ремень.

V

Ремень был широкий, из грубой воловьей кожи, с медной пряжкой. Медь он специально зачернил золой, чтобы та не блестела — вообще никакого блеска, никакого отражения. В этой хижине не было ничего, что могло бы отразить его лицо. Ни куска полированного металла, ни гладкого камня, ни посуды с глянцевой поверхностью. Даже ложки были деревянными, выскобленными до матовой шершавости.

Он продел ремень в шлёвки штанов, затянул. Пряжка мягко щёлкнула, встав в привычную дырочку — третью слева. За много лет кожа на ремне растянулась, и теперь он застёгивался не на вторую, как раньше, а на третью. Эйнар заметил это ещё месяц назад, но не придал значения. Он вообще редко придавал значение тому, что касалось его тела. Тело было инструментом. Инструменты изнашиваются.

Он опустил руки и проверил, не болтается ли ремень. Нет,

сидел плотно.

Потом он взял нож.

Нож висел на поясе, в ножнах из берёсты, прошитых сухожилиями. Ножны были жёсткими, держали форму, и лезвие входило в них с тихим, почти ласковым шуршанием. Эйнар вытащил нож, повертел в руке.

Клинок был обсидиановым.

Обсидиан — вулканическое стекло, чёрное, острое, как бритва, но хрупкое. Его нельзя было полировать — он и так блестел, но блестел тускло, приглушённо, и в его глубине не отражалось ничего, кроме тьмы. Эйнар нашёл этот обсидиан в русле пересохшего ручья, когда ему было пятнадцать. Целый месяц он оббивал его, придавая форму, — маленькими сколами, по миллиметру, рискуя расколоть камень пополам при каждом ударе. Получилось. Клинок вышел узким, с закруглённым концом, удобным для свежевания и разделки.

Он провёл пальцем по лезвию — осторожно, не касаясь режущей кромки. Остриё было острым. Он знал это, потому что правил нож каждое утро на куске песчаника, лежавшем у порога.

Вложил нож обратно в ножны.

Топор он повесил на пояс слева. Топорище — ясеневое, гладко обструганное, без лака. Головка — железная, грубойковки, с матовой поверхностью. Эйнар выковал её из куска руды, найденной в лесу. Плавил в яме, обложенной камнями, дул в меха самодельные из козьей шкуры. Металл получился плохой — серый, рыхлый, с пузырями, — но топор служил верно четыре года и ни разу не подвёл.

Он проверил, хорошо ли держится головка — стукнул обухом по ладони. Держится.

Лук и колчан он оставил у двери, чтобы взять перед выходом. А пока — пора было позавтракать.

VI

Он подошёл к печи, снял с крюка котелок.

Котелок был старый, закопчённый до черноты, с отбитым краем и погнутой ручкой. Внутри — вода, которую он налил ещё вчера вечером, и горсть сушёных трав: зверобой, тысячелистник, мята, немного ромашки. Травы плавали на поверхности, набухшие, тёмно-зелёные, отдавая воде свой горьковатый запах.

Он зачерпнул ковшом — деревянным, грубо вырезанным, с длинной ручкой, чтобы не обжечься, — и подул на пар.

Ковш был его гордостью. Он вырезал его из цельного куска берёзы, выдолбив середину раскалённым углём. Ковш получился глубоким, вместительным, с неровными, но гладкими стенками. Эйнар покрыл его топлёным жиром, чтобы дерево не впитывало влагу, и теперь ковш блестел маслянисто, но не отражал — жир матировал поверхность, делая её безопасной.

Он сделал маленький глоток.

Горячо. Жгуче, почти больно. Травяной отвар обжёт губы, язык, нёбо, но во рту остался приятный, чуть сладковатый привкус. Он пил медленно, по глотку, чувствуя, как тепло разливается по пищеводу, достигает желудка и оттуда — волнами, медленными и уверенными, — расходится по телу.

Пальцы отогрелись. Щёки порозовели. Даже нос, вечно холодный даже у печи, начал оттаивать.

Он выпил половину ковша и поставил его на полку.

Потом взял лепёшку.

VII

Лепёшка лежала в глиняной миске под холщовой салфеткой. Вчерашняя. Зачерствевшая, но не до каменной твёрдости — в самый раз, чтобы размочить в воде или просто жевать, обсасывая крошки.

Рожь, перемолотая на ручном жёрнове, с песком. Жёрнов был плохой, старый — два плоских камня, верхний с выдолбленной ручкой, нижний с желобком для муки. Камни были грубыми, пористыми, и при каждом помоле мелкая каменная пыль попадала в муку. Эйнар давно привык к хрусту на зубах. Он даже научился определять, какой песок — крупный или мелкий, — и если крупный, откладывал такую лепёшку на потом, а себе брал ту, где пыли было меньше.

Он отломил кусок лепёшки, положил в рот. Жевал медленно, прислушиваясь к хрусту. Рожь была горьковатой, с кислинкой — мука немного подмокла в сыром погребе. Но есть можно.

К лепёшке он отломил кусок сала.

Сало лежало в отдельной миске, под той же салфеткой — твёрдое, с розовой прожилкой мяса, щедро пересыпанное

солью. Соль крупная, серая, нечистая — из тех, что выпаривают из солёных озёр на востоке. Он выменивал её в деревне раз в месяц на шкуры. В последний раз выменял три недели назад — значит, скоро нужно будет идти снова.

Мысль о деревне не вызвала никаких чувств.

Ни злости, ни тоски, ни надежды. Только скучное, ровное знание: туда нужно идти, потому что без соли он протянет не больше двух месяцев, а потом начнётся слабость, головокружение, мясо будет портиться быстрее, чем он успеет его съесть. Соль — это жизнь. Как огонь. Как вода.

Как то, что он не мог получить иначе, кроме как от них.

Он откусил кусочек сала. Жир растёкся по языку, смешиваясь с ржаной горечью, и этот вкус — солёный, жирный, терпкий — показался ему единственно правильным вкусом утра. Вкусом сытости. Вкусом того, что сегодня он не умрёт от голода.

Он доел лепёшку, слизнул с пальцев жир, вытер их о штаны. Потом зачерпнул ещё один ковш кипятка — просто так, чтобы запить. Сделал несколько глотков, почувствовал, как желудок наполняется теплом, и поставил ковш на место.

В желудке было тепло и сытно. Не много, но достаточно, чтобы продержаться до полудня.

Он посмотрел на миску с салом, подумал, не взять ли ещё кусок — и не взял. Сало нужно беречь. Впереди ещё целый день, а может, и два, если охота не задастся.

Он встал из-за стола — вернее, из-за скамьи, потому что стола в хижине не было, — и принялся за утренний обход.

VIII

Обход начинался с ведра.

Эйнар подошёл к полке и замер перед ведром на расстоянии вытянутой руки. Ведро стояло в углу, где утром было темнее всего. Даже сейчас, когда огонь в печи разгорелся и залил комнату жёлтым светом, угол оставался сумрачным — тень от полки падала прямо на ведро, пряча его от любопытных лучей.

Тряпка лежала ровно. Серая, льняная, с вытертыми краями — её собственная тряпка, которую он менял раз в месяц. Он протянул руку, взял край тряпки и приподнял его ровно настолько, чтобы заглянуть под неё.

Вода была тёмной, почти чёрной. Ведро стояло здесь три дня, и вода успела отстояться, стать прозрачной в своей черноте. Никаких отражений. Ни его лица, ни потолка, ни огня из печи — только глубокая, бархатная темнота, которую нельзя было назвать ни пустотой, ни полнотой. Просто вода. Просто ведро.

Он опустил тряпку обратно, пригладил её ладонью, подогнул углы внутрь, чтобы не сползали.

Всё правильно.

Потом он проверил нож в чехле. Вытащил, провёл пальцем по лезвию, убедился, что оно матовое, без заусенцев, без полировки. Обсидиан не бликовал даже под прямым лучом света — его поверхность была неровной, пористой, и свет умирал в ней, не успев отразиться. Хороший камень. Надёжный.

Потом — топор. Топор он не вынимал из петли — просто провёл пальцем по обуху, проверяя, нет ли зазубрин. Не было. Обушок был гладким, но матовым — железо никогда не полировалось, и на нём выросла тонкая плёнка ржавчины, тёмная, бархатистая, убивающая любой блик.

Потом — дверная щеколда. Он провёл пальцами по её по-

верхности, проверяя, не отблескивает ли железо. Не отблескивало — щеколду он тоже зачернил золой много лет назад, и с тех пор она приобрела вид старого, больного дерева, хотя была самой настоящей сталью.

Он обвёл взглядом комнату.

Окна в хижине не было — только дверь и маленькое отверстие под крышей для дыма. Отверстие было закрыто деревянной заслонкой, которую можно было открыть, если нужно проветрить, но Эйнар почти никогда не открывал — холодно. Зато была глиняная миска, в которой он замешивал тесто. Он подошёл к ней, повертел в руках.

Поверхность миски была грубой, шершавой, почти как наждак. Глина была плохо обожжена, и на ней остались следы пальцев — его собственных, когда он лепил эту миску из куска глины, выкопанной у ручья. Он лепил вслепую, не глядя, чтобы случайно не увидеть что-нибудь в полированной поверхности. Миска получилась кривой, с неровными краями, но тесто в ней замешивалось хорошо, и это было главное.

Безопасно.

Он поставил миску на место и вздохнул с облегчением.

Ни одного опасного предмета. Ни одного отражения.

Он мог наконец расслабиться.

IX

Но расслабляться было рано. Впереди был выход в лес.

Эйнар подошёл к углу, где стоял его лук.

Лук был длиннее его самого — почти шесть футов от нижнего плеча до верхнего. Тис, цельный кусок, вымоченный в оленьей крови и просушенный в дыму. Тис на Серых Холмах не рос — отец принёс ветку из дальнего похода, когда Эйнару было всего шесть лет. Он помнил это смутно: запах дождя, мокрую кору, руки отца — большие, тёмные, с чёрной каймой под ногтями.

Отец был плотным, коренастым мужчиной с густой бородой и тяжёлым взглядом. Он мало разговаривал с сыном — не потому, что не любил, а потому, что не умел. Его язык был языком рук: похлопал по плечу — значит, молодец; отвесил подзатыльник — значит, не делай так больше. Эйнар вырос под этим молчаливым присмотром, и только теперь, спустя много лет, он начал понимать, сколько любви было в тех редких похлопываниях по плечу.

Отец умер, когда Эйнару было десять.

Он не хотел вспоминать, как это случилось.

Но иногда воспоминания приходили сами — как сегодня утром, когда он взял в руки отцовский лук. Они приходили не картинками, а ощущениями: запах сырой земли, тяжесть в груди, страх — глупый, детский страх, который не имел ничего общего с реальностью, но душил так же сильно.

Он сжал пальцами тисовое плечо лука, чувствуя под ладонью гладкую, тёплую поверхность, отполированную годами. Дерево помнило тепло отцовских рук. И теперь помнило тепло его рук.

Он натянул тетиву — жила, сушёная, тугая, гудит едва слышно, — и проверил, ровно ли лежит стрела в ложбинке. Всё было в порядке.

Он положил лук на лавку рядом с колчаном.

Х

Колчан был сделан из бересты, скреплённой сухожилиями. Лёгкий, почти невесомый, но прочный — береста не бо-

ялась ни влаги, ни мороза. Внутри, плотно прижатые друг к другу, лежали стрелы.

Он вытащил их одну за другой, разложил на лавке, пересчитал.

Двадцать штук. Каждая с матовым наконечником, оперённая вороньим пером. Вороны на Серых Холмах водились в изобилии — чёрные, жирные, наглые. Они не боялись человека, потому что человека здесь было мало, а падали много. Эйнар не любил ворон — у них были слишком умные глаза, — но перья их ценил: они не намокали в снегу и держали направление лучше гусиных.

Он проверил каждую стрелу: древко не треснуло? оперение не вылезло? наконечник держится?

Стрелы были в хорошем состоянии. Три из них слегка кривые — он заметил это ещё месяц назад, но ничего не мог сделать, потому что других не было. Кривая стрела летит хуже прямой, но на расстоянии в двадцать шагов разница почти незаметна. А дальше двадцати шагов он всё равно не стрелял — слишком велик риск промахнуться.

Он сложил стрелы обратно в колчан.

Двадцать стрел — не так много, особенно если учесть, что в лесу можно потерять сразу несколько: сломать о дерево, утопить в снегу, засадить в кость так глубоко, что не вытащишь. Но запасы на пополнение были: под лежанкой лежала вязанка сухих сосновых веток — на древка, — а в берестяном коробе хранились перья, собранные за лето.

Хватит. На этот сезон хватит.

Он взял копьё.

XI

Копьё было его главным оружием.

Короткое — всего четыре фута, с толстым древком из ясеня. Ясень рос на южном склоне, где земля была суше и солнце светило хотя бы несколько часов в день. Эйнар срубил его на третий год своей жизни в хижине, когда понял, что с луком в ближнем бою делать нечего. Древко он строгал и шлифовал целую зиму, подгоняя его под свою ладонь, под свой рост, под свои привычки.

Наконечник — железный, грубойковки, без единого блика. Он сам выковал его прошлой весной, когда нашёл в лесу кусок руды, выпавшей из корней поваленной бурей сос-

ны. Руда была бурой, тяжёлой, с вкраплениями красного. Он наломал её на куски, растолок камнем, промыл в ручье — остался чёрный песок, магнитный, липнущий к пальцам.

Плавил в самодельной печи — яме, обложенной камнями, с мехами из козьей шкуры. Уголь жёг берёзовый, жаркий. Металл плавился долго, и наконечник получился некрасивым — бугристым, с окалиной, с мелкими раковинами от пузырьков газа. Но он был острым и держал заточку. А большего Эйнару и не требовалось.

Он провёл пальцем по наконечнику, проверяя остроту. Палец упёрся в металл и не скользнул — значит, туповат. Он взял с полки небольшой брусок песчаника, смочил его слюной и принялся править.

Вжик. Вжик. Вжик.

Однообразное, успокаивающее движение. Песчаник скрипел по железу, снимая тончайший слой металла. Эйнар закрыл глаза и правил на ощупь, доверяя пальцам больше, чем зрению. С каждым движением металл становился острее, и палец начинал скользить, едва касаясь поверхности.

Он остановился, открыл глаза, проверил.

Остро.

Он примотал наконечник к древку мокрым кожаным ремешком — ремешок, высыхая, сжимался и стягивал соединение мёртво. Копьё было готово.

Он поднялся, опираясь на копьё, как на посох.

Лук, копьё, топор, нож. Четыре предмета, которые отделяли его от голодной смерти.

Он положил копьё у двери, рядом с луком и колчаном.

Пора выходить.

XII

Перед выходом он замер у двери, положив ладонь на деревянную щеколду.

В хижине было тихо. Слышно только, как потрескивают угли в печи да как ветер скребётся в щели между брёвнами. Эйнар закрыл глаза — просто так, на секунду, — и прислушался к себе.

Ничего особенного. Ровное, глухое спокойствие. Сердце

бьётся ровно, дыхание глубокое, в висках не стучит. Ни тревоги, ни предчувствия, ни дрожи в пальцах. Он не знал, хорошо это или плохо.

Последние дни видения отступили — или, по крайней мере, не мучили его по ночам. Может, потому, что он устал как собака и спал без снов. Может, потому, что дар устал от него. А может, и потому, что ничего страшного в ближайшее время не предвиделось.

Он не надеялся на последнее. Он вообще ни на что не надеялся.

Надежда была роскошью, которую он не мог себе позволить. Он пробовал надеяться — в детстве, когда думал, что люди перестанут бояться, если он докажет, что не приносит несчастья. Он ошибался. Чем больше он доказывал, тем сильнее его боялись. В конце концов он понял: они боятся не его поступков. Они боятся того, что он есть.

Изгоем не становятся. Изгоем рождаются.

Он вздохнул, отодвинул щеколду и толкнул дверь.

Часть вторая: Лес

ХІІІ

Холод ударил в лицо, как мокрая тряпка.

Не мороз — мороз был бы легче, суше, он бы только обжѣг щѣки и ушѣл. Это была сырая, пробирающая до костей стужа, от которой не спасали ни шерсть, ни мех, ни овчина. Воздух был наполнен мельчайшими ледяными иглами — не снег, не иней, а что-то среднее, липкое, оседающее на ресницах и бровях, проникающее за воротник, заползающее в рукава.

Эйнар прищурился и шагнул за порог.

Ночь ещё не уступила утру. Небо на востоке только начинало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжѣлый пасмурный день. Звѣзды уже погасли, но луна ещё висела низко, бледный полумесяц, похожий на обгрызенную кость.

Снег под ногами скрипел. Не звонко, как в сильный мороз, а глухо, вязко — будто под подошвой была не замѣрзшая вода, а мокрая зола.

Эйнар отошѣл от хижины на несколько шагов и остановился.

Он всегда так делал. Выходил, отходил на безопасное расстояние — не от зверей, от хижины — и смотрел на неё со стороны. Низкая, кривая, с провалившейся крышей и покосившимся дымоходом. Стену когда-то подпирали брёвнами снаружи — иначе рухнула бы, не выдержав тяжести снега. Дверь висела на петлях из сыромятной кожи, и эти петли каждый год приходилось менять.

Убогая хижина. Нищему в пору.

Но это был его дом.

Он помнил день, когда впервые переступил её порог. Ему было семнадцать, за спиной — два года скитаний, мокрые ноги, пустой желудок, страх. Хижина стояла заброшенная, без хозяина, с провалившейся крышей и выбитой дверью. Он зашёл внутрь — и понял, что больше никуда не пойдёт. Он заделал дыры, починил печь, выгреб мусор. Три дня ушло только на то, чтобы вывезти из углов гнилое сено и старые кости — кто-то до него использовал хижину как логово.

С тех пор прошло десять лет. Десять зим. Десять весен. Хижина стояла, и он стоял вместе с ней.

Он отвернулся и зашагал к лесу.

XIV

Лес начинался сразу за небольшой поляной, которую Эйнар расчистил сам — просто чтобы иметь обзор и чтобы волки не могли подобраться к дому незаметно. Поляна была неровной, с торчащими пнями и кучами хвороста, которые он так и не удосужился убрать. Зимой всё это заносило снегом, и поляна превращалась в белое поле без единого ориентира.

Деревья здесь были низкорослыми, корявыми, с ободранной корой. Берёзы с чёрными стволами, сосны, искривлённые ветром, осины, дрожащие даже в безветрие. Между ними — сугробы, глубокие, рыхлые, кое-где с твёрдой коркой наста, которая держала не всякого зверя.

Эйнар шёл беззвучно.

Он не хрустел ветками, не проваливался в ямы, не цеплялся за кусты. Каждый шаг был выверен — пятка сначала, потом носок, перенос веса медленно, без рывка. Он дышал через нос, приоткрыв рот, чтобы холодный воздух успевал согреваться, прежде чем ударить в лёгкие. Руки — в рукавицах, но пальцы свободны, наготове. Лук за спиной, копье в правой руке, вертикально, древком вверх.

Так он ходил всегда. Так учил его отец.

— Лес слышит всё, — говорил отец. — Каждый твой шаг, каждый вздох, каждый скрип кожи на сапогах. Лес не прощает глупцов. Лес кормит только тех, кто становится его частью.

Эйнар стал частью леса. Он двигался между деревьями так же бесшумно, как ветер, и так же незаметно, как тень. Он знал каждую тропу, каждую ложбину, каждое место, где можно спрятаться или устроить засаду. Он знал, где растёт черника, а где — клюква, где ночуют зайцы, а где — тетерева. Лес был его домом больше, чем хижина.

Он шёл уже около получаса, когда заметил следы.

XV

Следы были свежими — не старше суток. Оленьи.

Эйнар присел на корточки и склонился над ними. Два чётких отпечатка копыт, чуть в стороне — третий, волочившийся, неполный. Олень хромал. Правый задний след был глубже и длиннее, чем левый — животное переносило вес на здоровую ногу, и больная только волочилась.

Крупный самец. По глубине следа и расстоянию между шагами можно было определить рост и вес. Судя по всему, олень был не просто крупным — огромным, с рогами, которые могли весить больше, чем сам Эйнар.

Идти он мог от реки к северу, к старому сосняку, где всегда был ягель. Ягель — корм для оленей, лишайник, серый и сухой, который они выкапывают из-под снега. В этом году ягеля было мало — лето выдалось сухим, и лишайник не разросся. Олени уходили всё дальше на север, и охота становилась всё труднее.

Но этот остался. Или не смог уйти из-за раненой ноги.

Эйнар изучил след ещё несколько минут, запоминая каждую деталь: направление, глубину, свежесть. Потом поднялся и пошёл по следу, держа копьё наготове.

XVI

Следы привели его к замерзшему ручью.

Ручей был мелкий, неширокий — летом его можно перешагнуть, не замочив сапог. Сейчас лёд покрывал его полностью, толстый, мутный, с пузырьками воздуха внутри. Подо

льдом что-то чернело — водоросли, наверное, или прошлогодние листья, унесённые водой и застывшие в толще льда.

Олень пересёк ручей в самом узком месте, оставив на льду глубокие царапины копытами. Лёд был иссечён следами — олень скользил, терял равновесие, но всё-таки перешёл.

Эйнар перешёл следом.

Он ступал осторожно — сначала поставил одну ногу, проверил, держит ли лёд, потом перенёс вес. Лёд прогибался, трещал, но не проваливался. Он сделал второй шаг, третий. Четвёртый — и он уже на другом берегу.

Он остановился, перевёл дух. Пот заливал глаза, щипал, смешиваясь с морозным воздухом. Он вытер лицо рукавицей — шершавой, пахнувшей дымом и кожей, — и посмотрел вперёд.

За ручьём лес стал гуще.

Сосны смыкались кронами, создавая подобие крыши, под которой было темно даже днём. Снега здесь было меньше — ветки задерживали его, и под ногами хрустела не каша, а сухая ледяная крупа. Воздух пах хвоей и чем-то сладковатым — трухой, гниющими пнями, вечной сыростью.

Эйнар замедлил шаг.

Что-то было не так.

Он не мог объяснить, что именно — интуиция охотника, привычка к лесу или тот самый дар, который он так ненавидел. Но воздух изменился. Стал плотнее, тяжелее, будто перед грозой, хотя до грозы в эту пору было далеко как до лета. Каждый вдох давался с трудом, будто кто-то положил ему на грудь мешок с песком.

Он остановился. Прислушался.

Тишина.

Но не та, пустая, как поутру. Другая — насторожённая, поджатая, как кошка перед прыжком. Даже ветер затих. Даже деревья перестали скрипеть. Даже снег, который минуту назад хрустел под ногами, теперь лежал безмолвно, будто боясь выдать его присутствие.

Эйнар медленно повернул голову вправо, потом влево.

Ничего.

Лес как лес. Сосны, сугробы, чуть дальше — поваленный ствол, облепленный снежными шапками, похожий на спину огромного зверя. Ни зверя, ни человека.

Он постоял ещё минуту, прислушиваясь. Ничего.

Может, показалось.

Он перевёл дух и пошёл дальше.

XVII

Он нашёл оленя через полчаса.

Тот стоял на небольшой поляне, окружённой молодыми сосенками. Крупный, старый самец с огромными рогами — лопатообразными, тяжёлыми, с множеством отростков. Эйнар насчитал двенадцать концов — добрый знак для охотника, хотя сам он в приметы не верил.

Шерсть тёмная, почти бурая, на боках — седые проплешины. Глаза — чёрные, блестящие, с вертикальным зрачком, как у всех копытных. Он стоял на трёх ногах, поджав правую заднюю, и низко опустил голову, готовясь то ли к прыжку, то ли к падению.

Рана на ноге кровоточила. Кровь тёмная, почти чёрная — значит, задета крупная вена. Капля за каплей падала на снег, оставляя маленькие красные кратеры, которые сразу же затягивались ледяной коркой.

Эйнар замер в двадцати шагах от него, за стволом толстой сосны.

Он смотрел на оленя, и олень смотрел на него — выжидающе, враждебно, с тем тупым животным страхом, который делает зверя самым опасным. В такие моменты олень забывает, что он травоядный. Он становится убийцей, и его оружие — рога, копыта, вес — страшнее любого волчьего клыка.

Олень долго не протянет. Может, день. Может, два. Но сейчас он был ещё силён, и если кинется — рога достанут до груди, копыта разорвут живот, даже копыё не спасёт, если промахнуться.

Эйнар медленно, очень медленно, положил копыё на землю.

Он снял лук с плеча.

Вложил стрелу.

XVIII

Тетива туго натянулась, и он замер, как изваяние — ни дыхания, ни движения. Только пальцы дрожали, удерживая натяг. Стрела смотрела оленю прямо в шею — в то место, где сонная артерия проходит ближе всего к поверхности.

Но олень стоял слишком далеко для верного выстрела. Двадцать шагов — это много для лука, даже хорошего. На таком расстоянии стрела может отклониться на волосок — и вместо артерии попасть в лопатку, в кость, в пустоту. Раненый, но не убитый олень уйдёт в чащу, и искать его потом придётся полдня, а то и больше.

Нужно подойти ближе. Шагов на десять.

Эйнар сделал шаг.

Снег скрипнул под сапогом — тихо, но в этой тишине скрип прозвучал как выстрел. Олень дёрнул ухом, повернул голову.

Эйнар замер.

Олень смотрел на него. Прямо в глаза. Тупое, тяжёлое жи-

вотное недоумение в его взгляде смешивалось со страхом — тем самым, который рождается не от понимания угрозы, а от чистого инстинкта.

Эйнар ждал.

Ждал, когда олень моргнёт. Когда отведёт взгляд хотя бы на секунду. Когда устанет стоять и опустит голову чуть ниже, открывая шею.

Секунды тянулись медленно. Он слышал, как бьётся его собственное сердце — глухо, тяжело, как кузнечный молот. Он слышал, как ветер шевелит иголки на соснах. Он слышал, как снежинка — одна-единственная — падает с ветки и бесшумно ложится на землю.

И вдруг олень дёрнулся.

Резко, неожиданно, без видимой причины. Подпрыгнул на трёх ногах, развернулся и кинулся прочь, ломая кусты, взметая снег.

Эйнар выругался про себя — редкость, он почти никогда не ругался, — и побежал следом.

Он гнался за оленем почти час.

Раненое животное было быстрым, отчаянным. Оно петляло между деревьями, прыгало через завалы, дважды пересекало замёрзшие ручьи. Эйнар не отставал — он знал лес, знал, куда выведет эта тропа, и старался срезать углы, чтобы сократить расстояние.

Бежать по глубокому снегу было тяжело. Ноги проваливались по колено, и каждый шаг требовал усилий, которые быстро истощали силы. Дыхание стало прерывистым, в боку закололо. Он сбросил капюшон — и сразу же почувствовал, как мороз впивается в мокрые волосы, в потный лоб.

Но олень замедлялся.

Кровь лилась всё сильнее, и дыхание зверя стало хриплым, прерывистым. Эйнар слышал этот хрип даже на расстоянии — булькающий, влажный звук, означавший, что лёгкие оленя заполняются кровью. Он уже не бежал — он шёл, спотыкаясь, загребая снег копытами.

Эйнар настиг его у большого валуна, поросшего мхом.

В тусклом утреннем свете валун казался спящим зверем

— огромным, тёмным, с пупырчатой спиной. Олень остановился у его подножия, повернулся, выставил рога.

— Стой, — выдохнул Эйнар. Глупо, зверь всё равно не понимает. Но он сказал.

Олень сделал выпад — медленный, неуклюжий, обречённый. Рога прошли в футах от его груди.

Эйнар отскочил в сторону, натянул лук.

Стрела сорвалась с тетивы с сухим щелчком.

Она вошла оленю в шею сбоку, чуть выше грудины, пробила кожу, мышцы, застряла в позвонке. Олень рухнул, как подкошенный. Дёрнулся раз, другой. Копыта заскребли по снегу, взметая белую пыль. Потом затих.

Эйнар стоял над ним, тяжело дыша.

Пот заливал глаза, щипал, смешиваясь с морозным воздухом. Он вытер лицо рукавицей, присел на корточки.

Олень был мёртв.

Эйнар сидел на корточках, глядя на тушу.

Хороший, крупный зверь. Двести фунтов мяса, не меньше. Шкура — тёплая, густая, без клещей и лишаёв, с густым подшёрстком. Рога — на наконечники стрел, на рукояти ножей, на пуговицы. Копыта — на клей. Кости — на наконечники для стрел.

Ничего не пропадёт.

Он выдохнул и положил ладонь на ещё тёплый бок.

— Прости, — сказал он. Тихо, без ожидания ответа.

Он не знал, зачем говорит это. Может, из уважения к зверю, который отдал свою жизнь, чтобы он прожил ещё несколько недель. Может, из суеверия — глупого, крестьянского суеверия, в которое он не верил, но которое жило в нём где-то глубоко, под слоями цинизма и усталости. Может, просто потому, что в этом проклятом мире, где никто никого не жалел, ему хотелось быть тем, кто хотя бы говорит «прости» перед тем, как содрать шкуру.

Он убрал руку.

Пора было работать.

Часть третья: Разделка

XXI

Эйнар достал нож.

Обсидиановый клинок блеснул в утреннем свете — тускло, как уголь, но достаточно, чтобы он на секунду замер, проверяя, не отразилось ли что-нибудь в чёрной глубине камня. Ничего. Только тьма.

Он перерезал оленю горло.

Кровь хлынула тёмной, густой струёй, пахнувшей железом и теплом. Он поставил глиняную миску, которую носил с собой в мешке, и ждал, пока кровь наполнит её до краёв. Кровь была хорошей — жидкой, без сгустков, значит, олень умер быстро и успел обескровиться.

Миска наполнилась. Он отставил её в сторону, накрыл тряпкой, чтобы не замёрзла.

Потом он принялся за шкуру.

Снять шкуру с оленя — это искусство.

Он начал с разреза вокруг задних ног, чуть выше скакательного сустава. Лезвие шло легко, почти без усилий — обсириан резал шкуру, как масло. Он надрезал кожу по внутренней стороне ноги, спустился к паху, потом — от паха к груди, по средней линии живота.

Пальцы работали быстро, уверенно. Он уже делал это сотни раз. Шкура отделялась от мяса с тихим, чавкающим звуком, обнажая розовую мышечную ткань, покрытую тонкой плёнкой жира.

Жир он срезал сразу, складывая в отдельную тряпицу. Из жира он вытопит смалец — на светильник, на пропитку сапог, на смазку лука. Жир в зимнем лесу — это почти золото.

Шкура отошла хорошо. Олень был упитанным, и между мясом и кожей был толстый слой жировой клетчатки, которая помогала отделять шкуру без лишних усилий. Он снимал её медленно, осторожно, стараясь не порвать в тех местах, где шкура была тоньше — на животе, под мышками, на морде.

Через час шкура была снята целиком.

Он разложил её на снегу шерстью вниз, расправил, проверил на дыры. Дыр было две — от стрелы на шее и от старой раны на ноге, из-за которой олень и охромел. Рана была старой, зажившей, но плохо — кожа вокруг неё была тонкой, истончённой, и при съёмке она порвалась.

Ничего. Зашьёт.

Он свернул шкуру в рулон, перетянул ремешком и положил рядом с миской с кровью.

XXIII

Потроха были следующей частью работы.

Он разрезал брюшину — осторожно, чтобы не повредить кишечник, — и запустил руку внутрь. Внутренности были тёплыми, скользкими, пахли травой и кровью. Он вытащил их все сразу, единым комом, и положил на снег в стороне от туши.

Волки утащат их за ночь. Или лисы. Или вороны. Ему было всё равно — потроха он не ел, кроме печени, сердца и лёгких.

Печень и сердце он отложил отдельно — сегодня на ужин. Лёгкие — в похлёбку. Кишки он оставил на месте: чистить их в лесу было некогда, и вообще колбасу он делал редко, только когда мяса было в избытке.

Сейчас мяса было в самый раз.

XXIV

Мясо он разделил на крупные куски.

Сначала — задние четверти. Самые мясистые, самые жирные. Каждая весила не меньше сорока фунтов. Он отрубил их топором, разрубив тазобедренный сустав с одного удара.

Потом — передние лопатки. Меньше, но тоже хороши.

Потом — рёбра. Он отсёк их от позвоночника, стараясь оставить на костях как можно больше мяса.

Потом — хребет. Позвонки с длинными полосами мяса по бокам. Хребет он разрубил на три части, чтобы удобнее было нести.

Потом — шея. Тоже мясо, хоть и жёсткое, но для похлёб-

ки сойдёт.

В конце осталась голова. Голову он брал редко — мозги можно съесть, но возни с ними слишком много. Он отрубил её топором и отбросил в сторону. Волки съедят.

Каждый кусок мяса он завернул в чистую тряпку, чтобы не намёрзло, и уложил в мешок.

Мешок был большой — сшит из цельной оленьей шкуры, вывернутой мехом внутрь. Он мог вместить почти всю тушу, если утрамбовать как следует. Эйнар утрамбовал.

Мешок наполнился до краёв. Он затянул горловину ремешком, взвесил на руке.

Пуд. Два пуда. Тяжело.

Но он справится.

Часть четвёртая: Возвращение

XXV

Он окинул взглядом поляну — ничего не забыл?

Нож — в ножны. Лук — за спину. Копьё — в правую руку. Мешок с мясом — через левое плечо. Миска с кровью — в левую руку. Шкура — поверх мешка.

Всё.

Он пошёл обратно.

XXVI

Обратный путь занял вдвое больше времени.

Нога проваливалась в глубокий снег, мешок тянул вниз, и каждый шаг давался с трудом. Эйнар шёл медленно, переставляя ноги, как сломанные рычаги. Несколько раз он останавливался перевести дух, опираясь на копье.

Миска с кровью мешала. Она была тяжёлой и скользкой, и он боялся её выронить. Кровь была слишком ценна, чтобы разлить её на снег. Он переложил миску в мешок, поверх мяса, — так было надёжнее, хоть и тяжелее.

В одном месте он заметил волчьи следы — свежие, пересекавшие его собственную тропу. Волки шли со стороны реки, трое или четверо, крупные. Следы уходили в ту же сторону, откуда он пришёл — к убитому оленю.

Он усмехнулся.

Успели, твари. Потроха утащат за час. Ну и пусть. Главное — мясо.

Он пошёл дальше.

XXVII

Солнце уже поднялось над горизонтом — тусклое, безрадостное пятно за пеленой облаков. Лес засиял, но не ярко, а как-то болезненно, жёлто-серо, будто болел и не мог продрать глаза.

Эйнару стало жарко.

Он остановился, скинул капюшон, расстегнул ворот куртки. Пот тёк по спине, по груди, скапливался под рубахой, охлаждал кожу при малейшем движении. Он вытер лоб рукавицей — рукавица стала мокрой и тут же задубела на морозе.

Он никогда не потел от жары — только от напряжения. Сейчас он был напряжён. И не только из-за мешка.

Что-то было не так.

То же чувство, что и раньше, но сильнее. Лес словно сжался вокруг него, стал теснее, ниже. Воздух дрожал — не от тепла, от чего-то другого, непонятного, почти нереального.

Эйнар огляделся.

Обычный лес. Сосны, берёзы, снег. Никого.

Но где-то глубоко внутри, под рёбрами, там, где жил его дар, заворочалось что-то тёмное и тяжёлое. Не видение — ещё нет, только предчувствие. Тошнота, почти незаметная, на грани восприятия. Лёгкое головокружение.

Он замер, закрыл глаза, сосредоточился на дыхании.

Вдох. Выдох. Вдох.

Не помогает.

Он открыл глаза — и посмотрел на снег под ногами.

XXVIII

Снег был обычный, утрамбованный, с лёгкой ледяной коркой. И на этой корке — в том месте, куда он только что

поставил ногу, — он увидел отражение.

Не своё. Оленя.

Тот самый олень, которого он убил час назад, лежал на снегу, неподвижный, с торчащей из шеи стрелой. Кровь всё ещё текла из раны, тёмная, густая, смешиваясь со снегом.

И вдруг олень дёрнулся.

Поднял голову. Посмотрел прямо на Эйнара.

Глаза у оленя были мёртвые — стеклянные, пустые, но в них было что-то ещё. Что-то, что смотрело не из глаз, а из-за них.

Олень открыл рот. Из горла вырвался звук — не мычание, не хрип, а голос. Человеческий голос. Тихий, надтреснутый, почти женский.

— Ты убил меня, — сказал олень.

Эйнар отшатнулся.

Нога соскользнула с ледяной корки, и он едва удержал равновесие, выронив копье. Мешок с мясом рухнул в снег.

Он отполз на шаг, снова посмотрел вниз.

Ничего.

Обычный снег. Серая ледяная корка. Никакого отражения. Никакого оленя.

Сердце колотилось где-то в горле, больно и часто. Эйнар стоял на коленях в снегу, тяжело дышал, сжимая и разжимая кулаки.

Вот оно. Началось.

Он думал, что сегодня будет тихий день. Он ошибся.

Дар проснулся.

Часть пятая: Дорога домой

XXIX

Он сидел на снегу, пока дыхание не выровнялось.

Пальцы дрожали, но не от холода — от напряжения. Он постарался не думать о том, что только что видел. Не анализировать. Не вспоминать. Если начать думать об этом сей-

час, на морозе, в одиночестве, можно сойти с ума.

Видения были частью его проклятия. Они приходили и уходили, и он научился не бояться их. Но это видение было странным. Обычно он видел будущее — то, что должно случиться. А это — олень с человеческим голосом — не было похоже на будущее. Это было... другое.

Он тряхнул головой, отгоняя мысли.

Не сейчас.

Он поднялся, отряхнул колени, подобрал копьё. Мешок с мясом — на плечо. Пошёл.

Шаг за шагом. Сосредоточиться на дороге. На снеге. На том, что нужно обойти поваленное дерево слева. Не думать об отражениях. Не смотреть вниз. Смотреть только вперёд, на тропу, которая вьётся между деревьями, ведёт к дому.

Дом. Тёплая печь. Горячий настой. Сухие портянки.

Эйнар шёл и считал шаги.

Один. Два. Три.

Четыре. Пять. Шесть.

Когда счёт дошёл до ста, дрожь прошла.

XXX

Он вышел к хижине через час.

Солнце уже клонилось к закату — день прошёл быстрее, чем он думал. Хижина стояла на своём месте, кривая, тёмная, с дымом, выющим из трубы — он оставил огонь тлеть, и дым всё ещё тянулся, тонкий и серый.

Эйнар подошёл к двери, толкнул её плечом — руки были заняты.

Внутри было тепло. Не то чтобы жарко, но после ледяного ветра воздуха хижины показался ему почти ласковым. Он скинул мешок у порога — прямо на земляной пол, потому что сил тащить его в кладовую уже не было, — и прислонил копьё к стене.

Потом он снял лук, повесил его на гвоздь.

Стянул с себя плащ — мокрый от пота с внутренней стороны, промёрзший снаружи. Плащ закрипел, когда он его

снимал — ледяная корка на ворсе треснула и осыпалась мелкими осколками.

Он повесил плащ на спинку скамьи, поближе к печи.

Печь догорала — только красные угли на дне. Он подобрал несколько поленьев, подул, и огонь занялся снова.

XXXI

Эйнар сел на скамью, вытянул ноги к печи.

Было хорошо. Тяжесть в теле, усталость в мышцах, лёгкое головокружение от долгого напряжения — всё это было знакомым, почти приятным. Он сделал своё дело. Он принёс мясо. Он будет сыт ещё несколько недель.

Он взглянул на ведро.

Тряпка лежала ровно. Он не проверял её — не было сил. Просто посмотрел и отвернулся.

Потом он встал, налил себе ковш горячего настоя из котелка.

Пил долго, маленькими глотками, глядя в огонь.

Пламя танцевало, отбрасывая тени на стены. Тени были длинными, кривыми, похожими на людей, которые стояли вокруг и смотрели на него. Эйнар знал, что это просто игра света. Но всё равно смотрел на них с осторожностью, готовый в любой момент отвернуться, если тени начнут двигаться неправильно.

Они не двигались.

Он допил настой, поставил ковш на полку.

За окном смеркалось.

День прошёл. Он был жив. Он был сыт. Сегодня — и завтра — и, может, послезавтра, если повезёт.

Он лёг на лежанку, не раздеваясь — слишком устал. Овчина пахла дымом и потом. Он закрыл глаза.

Тишина перед рассветом миновала. Наступил вечер.

А завтра будет новый рассвет.

И новая тишина.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 1

ГЛАВА 2. КРОВЬ НА СНЕГУ

Часть первая: Пробуждение без сна

I

Он проснулся от того, что тишина изменилась.

Не стала громче или тише — она просто стала другой. Как вода, в которую бросили камень: вроде бы та же гладь, но пошли круги, и уже не вернуть прежнего спокойствия. Эйнар лежал на спине, не открывая глаз, и слушал. Дыхание — ровное, чуть хриплое с левой стороны, там, где прошлой зимой прихватило лёгкие после недели в снежном заносе. Печь — едва слышное потрескивание, угли доживают последние часы. Ветер — слабый, северо-западный, струится в щель между бревном и косяком, тонко, как лезвие.

Но что-то было не так.

Он открыл глаза.

Темнота. Не абсолютная — над печью тлеет один уголёк, бросая багровое пятно на потолок, — но глубокая, вязкая. Глаза привыкли за секунду. Он увидел балку, сучок, копоть. Всё на своих местах.

И всё же.

Эйнар приподнялся на локте, всматриваясь в угол, где на полке стояло ведро. Тряпка лежала ровно — серая, льняная, с вытертыми краями. Никто её не трогал. Он сам проверил перед сном.

Тогда что?

Он сел, свесил ноги с лежанки. Пол холодный, пятки нащупали знакомые неровности утрамбованной земли. Он пошевелил пальцами ног в шерстяных носках — затекли. Встал.

Тело слушалось плохо. Не то чтобы болело — просто было тяжёлым, как мешок с мокрым песком. Он проспал, наверное, дольше обычного. Вчерашний день вымотал: переход на северный склон, пустой капкан, возвращение затемно. Ничего не поймал, только силы потерял.

Сегодня нужно идти снова. Иначе через три дня в мешке

останется последний кусок сала и горсть муки.

Он потянулся, хрустнув шеей, и подошёл к печи.

II

Угли ещё дышали. Он разгрёб их кочергой — железным прутom, выкованным из подковы, которую нашёл в лесу много лет назад. Под углями тлел жар, ровный и плотный. Эйнар положил три щепки, подул, и огонь лизнул сухую кору.

Свет заполнил хижину, жёлтый и неровный. Тени заматались по стенам, прыгая от печи к двери, от двери к полке с мисками. Эйнар проследил за ними взглядом — ничего подозрительного. Тени как тени. Он сам, ссутуленный, с всклокоченными волосами, отбрасывал на стену уродливый силуэт, похожий на старого ворона.

Он отвернулся.

Вчерашний травяной настой остался в котелке. Холодный, горький, с плавающими листьями. Он выпил его залпом, не морщась — горечь привычна, как холод. Отставил ковш, взял с полки лепёшку. Вчерашняя, чёрствая, с трещинами на корке. Отломил кусок, положил в рот, разжевал.

Еда не имела вкуса. Или он не чувствовал. Бывает такое по утрам, когда тело ещё спит, а разум уже проснулся. Он доел лепёшку, облизал пальцы, вытер их о штаны.

Пора.

III

Одевался он сегодня быстрее обычного. Не потому, что торопился — просто движения сами собой складывались в привычную последовательность, без заминок и лишних мыслей. Рубаха, куртка, штаны, портянки. Сапоги — натянул, зашнуровал, притопнул. Ремень, нож, топор.

Лук — со стены. Тетиву проверил пальцами — тугая, без слабины. Колчан — на плечо, стрелы пересчитал на ходу: двадцать. Три из них кривые, но других нет.

Копьё он взял в правую руку, у двери.

Перед выходом замер, положив ладонь на щеколду. Прислушался к себе.

Ничего. Тишина. Даже той странной дрожи, с которой он проснулся, уже не было. Может, показалось. Или приснилось что-то, а он забыл.

Он толкнул дверь.

IV

Лес встретил его белым безмолвием.

Снег выпал за ночь — свежий, рыхлый, нетронутый. Наст, который вчера хрустел под ногами, сегодня исчез, укрытый новым слоем. Эйнар сделал несколько шагов от хижины и остановился, оглядываясь.

Деревья стояли неподвижно, припорошённые. Воздух был чист и прозрачен настолько, что дальние сосны казались близкими, а ближние — размытыми. Где-то далеко, за грядой, каркнул ворон — один раз, коротко, будто спросил что-то и не дождался ответа.

Эйнар пошёл на север.

Он шёл беззвучно, как всегда. Пятка — носок — перенос веса. Снег под сапогами не скрипел, а мягко оседал, принимая его шаги, как принимает вода брошенный камень. Он дышал носом, приоткрыв рот, чтобы холодный воздух успевал согреваться. Лук за спиной, копьё вертикально, древком вверх.

Он знал этот лес, как знал линии на собственных ладонях. Каждое дерево, каждый камень, каждая ложбинка, где весной собиралась вода. Здесь, слева от тропы, под корнями старой сосны, лежал валун, поросший мхом — он всегда оставался у него перевести дух. Там, впереди, через двести шагов, начинался овражек, где в прошлом году он нашёл выводок глухарей. А за овражком — замерзший ручей, а за ручьём — северный склон, где паслись олени в начале зимы.

Он шёл и смотрел под ноги.

Следы. Свежие, но не оленьи — заячьи. Косой петлял между кустами, уходя к югу. Не его добыча. Заяц — это мало мяса и много возни. Эйнару нужен был крупный зверь.

Он прошёл ещё полчаса. За это время наткнулся на лисью тропу, на чьи-то старые, запорошённые следы — то ли кабана, то ли мелкого медведя, определить было трудно, — и на место, где вчерашний ветер сломал молодую осину. Осина лежала поперёк тропы, белая, с ободранной корой, и Эйнару пришлось обойти её по глубокому снегу, проваливаясь почти по пояс.

Он выбрался, отряхнулся и замер.

Кровь.

Следы крови на снегу — тёмные, почти чёрные, с рваными краями. Недавние — капли не успели вмёрзнуть в ледяную корку, края ещё влажные. Эйнар присел на корточки, склонился над ними.

Кровь была оленьей. Он знал этот запах — сладковатый, с металлическим оттенком, — как знал запах собственного пота или дыма от печи. Олень прошёл здесь не больше часа назад. Может, даже меньше — капли не успели затянуться плёнкой.

Он поднял голову и посмотрел вперёд. Следы уходили на север, в сторону ручья. Один след — чёткий, глубокий. Второй — волочился, неполный. Олень хромал на правую заднюю ногу. Ранен. Ослаблен. Идеальная добыча.

Эйнар ощутил, как внутри, где-то под рёбрами, шевельнулось что-то тёплое. Не радость — нет, радость была давно забытым чувством. Скорее удовлетворение. Он нашёл след. Теперь оставалось только не спугнуть.

Он выпрямился и пошёл по следу, держа копьё наготове.

VI

Следы привели его к овражку, потом — к ручью.

Ручей замёрз, но лёд был тонким, с пузырьками воздуха внутри, и под ним чернела вода. Олень пересёк его в самом узком месте, оставив на льду глубокие царапины копытами. Эйнар перешёл следом, осторожно ступая — лёд прогибался, но держал.

За ручьём лес стал гуще, темнее. Сосны смыкались кронами, пропуская вниз только редкие лучи бледного утреннего света. Снега здесь было меньше — ветки задерживали его, и под ногами хрустела не каша, а сухая ледяная крупа. Воздух пах хвоей и чем-то сладковатым — трухой, гниющими пнями.

Эйнар замедлил шаг.

Он слышал дыхание раньше, чем увидел зверя.

Тяжёлое, прерывистое, с хрипом. Дыхание умирающего животного — не то чтобы жалобное, скорее обречённое. Эйнар замер за стволом толстой сосны и выглянул.

Олень стоял на поляне.

VII

Крупный самец. Огромный — таких он не видел уже два, а то и три года. Тёмная, почти бурая шерсть с седыми проплешинами на боках. Грудь мощная, широкая. Шея толстая, с короткой гривой. И рога — настоящая корона, лопатообразные, с множеством отростков. Эйнар насчитал двенадцать концов, но мог и сбиться — кровь стучала в висках, мешая сосредоточиться.

Олень стоял на трёх ногах, поджав правую заднюю. Рана на ноге кровоточила. Кровь тёмная, густая — значит, задета крупная вена. Капля за каплей падала на снег, оставляя маленькие красные кратеры, которые сразу же затягивались ледяной коркой.

Олень не двигался. Только дышал — тяжело, открыв рот, и пар валил из его ноздрей густыми клубами. Глаза — чёрные, блестящие, с вертикальным зрачком — смотрели в одну точку. Не на Эйнара. Сквозь него.

Эйнар медленно, очень медленно, опустил копьё на снег. Снял лук с плеча. Вложил стрелу.

Тетива натянулась, и он замер.

VIII

Двадцать шагов. Слишком много для верного выстрела, особенно с этим луком. На такой дистанции стрела могла отклониться на волосок — и вместо шеи попасть в лопатку, в кость, в пустоту. Раненый, но не убитый олень ушёл бы в чащу, и искать его потом пришлось бы полдня, а то и больше. А потом — разделывать в лесу, тащить мясо по глубокому снегу, рисковать встретить волков, которые всегда чувят кровь.

Нужно подойти ближе. Шагов на десять, не больше.

Эйнар сделал шаг.

Снег мягко осел под сапогом — почти беззвучно. Но олень всё равно дёрнул ухом. Повернул голову. Чёрные глаза уставились прямо на Эйнара.

Эйнар замер.

Они смотрели друг на друга несколько секунд. Эйнар не дышал. Олень тоже затаил дыхание — пар перестал идти из ноздрей. Тишина стала абсолютной, плотной, как смола.

Потом олень моргнул.

И в этот миг Эйнар шагнул снова. Три шага. Семь. Десять.

Он остановился в пятнадцати шагах от оленя. Лужа талой воды у ног зверя блеснула в утреннем свете — небольшая, с гладкой ледяной коркой, идеально ровная, как зеркало.

Эйнар поднял лук.

И замер снова — уже не от страха спугнуть, а от того, что увидел.

IX

В луже у ног оленя было не отражение.

Он смотрел в эту маленькую, затянутую тонким льдом поверхность, и вместо того чтобы увидеть небо, деревья и собственную тень, он увидел другое.

Олень падал.

Не сейчас — в том, другом времени, которое наступит через секунду. Он падал на бок, подломив передние ноги, тяжело, с глухим стуком. Глаза стекленели. Из раны на шее —

там, куда Эйнар ещё не выстрелил — хлестала кровь, тёмная, густая, заливая снег, смешиваясь с талой водой.

Эйнар видел это так же ясно, как видел настоящего оленя, стоящего перед ним. Две картинки наложились одна на другую, как два слоя прозрачной кожи. Реальный олень — живой, дышащий, с блестящими глазами. И тот же олень — мёртвый, лежащий на снегу, с распахнутым ртом.

Сердце пропустило удар.

Эйнар никогда не видел смерть в момент действия. Раньше видения приходили во сне — расплывчатые, обрывочные, похожие на кошмары, от которых просыпаешься в холодном поту. Или в случайных отражениях — мелькнёт и исчезнет, не успеешь разглядеть. Но чтобы вот так — ясно, чётко, в луже воды у ног живого зверя, за секунду до того, как это случится...

Он не успел додумать мысль.

Пальцы сами разжались. Тетива сорвалась с пальцев с сухим щелчком. Стрела ушла в полёт.

Она вошла оленю в шею сбоку — чуть выше грудины, туда, где сонная артерия проходит ближе всего к поверхности. Удар был точным, безупречным, таким, о котором можно только мечтать. Стрела пробила кожу, мышцы, хрящ, застряла в позвонке.

Олень рухнул.

Точно так же, как в видении. Та же поза — на левый бок, с поджатыми передними ногами. Та же кровь из раны — тёмная, густая, хлещущая не струёй, а толчками, в такт последним ударам сердца. Те же стекленеющие глаза, тот же распахнутый рот, из которого вместо хрипа вырвался булькающий, влажный звук.

Олень дёрнулся раз, другой. Копыта заскребли по снегу, взметая белую пыль вперемишку с красными брызгами. Потом затих.

Эйнар стоял над ним, тяжело дыша.

Лук выпал из рук. Он даже не заметил когда. Стрелы из колчана рассыпались — наверное, задел локтем. Он стоял, глядя на тушу, и не мог пошевелиться.

В голове билась одна мысль, глупая, навязчивая, как за-

ноза:

Я видел это раньше. Я видел это раньше. Я видел это раньше.

Он убил оленя дважды. Сначала — в отражении, потом — в реальности. И разницы между этими смертями не было. Ни для оленя. Ни для него.

XI

Сколько он так простоял — минуту, пять, десять, — он не знал. Время потеряло смысл, растеклось, как та вода в луже, смешанная с кровью. Он очнулся только когда где-то далеко, за грядой, снова каркнул ворон.

Эйнар вздрогнул, моргнул, сделал шаг назад.

Ноги дрожали. Не от холода — от напряжения, от того, что всё внутри сжалось в тугой комок и никак не могло разжаться. Он посмотрел на свои руки — они были в крови. Оленьей. Своей? Нет, своей не было. Он не ранен. Просто руки дрожали, и кровь на них казалась чужой, не принадлежащей ни ему, ни зверю.

Он опустил на корточки, положил ладонь на ещё тёплый

бок оленя.

— Что это было? — спросил он вслух.

Тишина. Даже ворон не ответил.

Он убрал руку. Сжал кулаки, разжал. Сжал, разжал. Дрожь не проходила.

Тогда он сделал то, что делал всегда, когда мир начинал раскалываться на части: сосредоточился на теле. На дыхании. На простых, грубых ощущениях, которые не могли его обмануть.

Вдох. Холодный воздух обжигает ноздри.

Выдох. Пар тает в воздухе.

Сердце. Стучит слишком часто, слишком громко. Нужно успокоить.

Он закрыл глаза и начал считать удары сердца. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.

На десятом ударе ритм стал ровнее. На двадцатом — дрожь в пальцах почти прошла. На тридцатом — он открыл

глаза.

Олень лежал перед ним мёртвый, как и полагается мёртвому оленю. Ничего странного. Никаких видений. Только туша, кровь на снегу и лужа талой воды у задних ног.

Эйнар посмотрел на лужу.

Обычная вода. Мутная, с пузырьками воздуха и мелкими льдинками. В ней отражалось серое небо и кусочек сосновой ветки. Ни оленя. Ни его лица. Ничего.

Он выдохнул. Поднялся. Пошёл за луком.

XII

Лук лежал в снегу, засыпанный белой пылью. Он поднял его, отряхнул, проверил тетиву — цела. Стрелы из колчана — собрал одну за другой, пересчитал. Девятнадцать. Двадцатая торчала из шеи оленя.

Он подошёл к туше, взялся за стрелу, выдернул. Наконецник вышел легко — кость не зажала. Стрела была цела, только перья намокли и слиплись от крови. Он обтёр её о снег, положил в колчан.

Потом он сел на поваленный ствол у края поляны, достал из мешка тряпицу и принялся вытирать руки.

Кровь уже начала подсыхать, превращаясь в липкую, тягучую плёнку. Тряпица быстро пропиталась, стала красной, потом бурой. Эйнар вытер руки, как мог, и отбросил тряпицу в сторону — для воронов.

Теперь нужно было работать.

XIII

Он подошёл к оленю, достал нож.

Обсидиановый клинок блеснул — тускло, почти незаметно. Эйнар на секунду замер, проверяя отражение. Ничего. Только тьма.

Он перерезал оленю горло — для верности, хотя зверь и так был мёртв. Крови осталось немного — большая часть вытекла через рану от стрелы. Он подставил глиняную миску, собрал то, что вытекло, — на полпальца, не больше. Накрыв миску тряпкой, отставил в сторону.

Потом принялся за шкуру.

Снять шкуру с такого крупного зверя в одиночку — работа на несколько часов. Эйнар знал это и не торопился. Он начал с разреза вокруг задних ног, чуть выше скакательного сустава. Лезвие шло туго — обсидиан острый, но шкура у старого самца оказалась толстой, почти как у медведя.

Он надрезал кожу по внутренней стороне ноги, спустился к паху, потом — от паха к груди. Пальцы работали медленно, осторожно, стараясь не порвать шкуру в тех местах, где она была тоньше — на животе, под мышками.

Жир срезал сразу, складывая в отдельную тряпицу. Жира было много — толстый слой, белый, с розоватыми прожилками. Из него выйдет хороший смалец, на месяц, а то и на два.

Шкура отходила тяжело. Олень был старым, и между мясом и кожей образовалась плотная соединительная ткань, которую приходилось перерезать сантиметр за сантиметром. Эйнар вспотел, несмотря на мороз. Пот заливал глаза, щипал, мешал смотреть. Он вытирал его рукавом, потом снова, и снова.

Через два часа шкура была снята целиком.

Он разложил её на снегу шерстью вниз, расправил, осмотрел на свет. Два прокола от стрелы — на шее и в боку. Три старых шрама, заросших белым волосом. И одна дыра от той самой раны на ноге, из-за которой олень охромел. Рана была старой, зажившей плохо — кожа вокруг истончилась, порвалась при съёмке.

Ничего. Зашьёт.

Он свернул шкуру в рулон, перетянул ремешком, положил рядом с миской с кровью.

XV

Потроха были следующей частью.

Он разрезал брюшину осторожно, чтобы не повредить кишечник. Запустил руку внутрь — внутренности были тёплыми, скользкими, пахли травой и кровью. Он вытащил их все сразу, единым комом, и положил на снег в стороне от туши.

Печень, сердце, лёгкие отложил. Всё остальное оставил волкам.

Печень была большой, тёмно-красной, с гладкой глянцевой

вой поверхностью. Он понюхал её — ни гнили, ни кислого запаха. Здоровая. Сердце — плотное, тяжёлое, с толстыми стенками. Лёгкие — розовые, с мелкими пузырьками воздуха.

Он завернул их в отдельную тряпицу и убрал в мешок.

XVI

Мясо он разделил на куски, как делал всегда.

Сначала — задние четверти. Самые мясистые, самые жирные. Каждая весила почти пятьдесят фунтов — Эйнар с трудом поднимал их одной рукой. Отрубил топором, разрубив тазобедренный сустав с одного удара.

Потом — передние лопатки. Меньше, но тоже хороши.

Потом — рёбра. Отсёк их от позвоночника, оставляя на костях как можно больше мяса.

Потом — хребет. Разрубил на три части.

Потом — шею.

В конце осталась голова. Голову он брать не стал — слиш-

ком много возни, мало пользы. Отрубил топором и отбросил в сторону, на съедение воронам.

Каждый кусок мяса он завернул в чистую тряпку и уложил в мешок. Мешок наполнился до краёв, стал тяжёлым — пудов на пять, не меньше. Эйнар затянул горловину ремешком, взвесил на руке. Тяжело. Но донесёт.

Он окинул взглядом поляну — ничего не забыл? Нож, лук, копье, колчан, мешок, миска с кровью, шкура. Всё.

Можно идти.

XVII

Обратный путь был долгим.

Мешок тянул вниз, каждые сто шагов приходилось останавливаться, переводить дух, опираясь на копье. Снег проваливался под ногами, идти было тяжело. Пот замерзал на спине, превращая куртку в ледяную корку. Несколько раз Эйнар падал, провалившись в ямы, присыпанные свежим снегом.

Но он шёл.

Мысли вернулись к тому, что случилось утром. К луже. К

отражению. К тому моменту, когда он увидел смерть оленя за секунду до того, как она произошла.

Он пытался убедить себя, что это был просто опыт. Охотничье чутьё, доведённое до предела. Интуиция. В конце концов, он знал, что олень ранен, знал, что тот слаб, знал, куда нужно целиться. Может, его разум просто предсказал то, что должно было случиться, а отражение в луже было совпадением?

Но он не верил в это.

Он видел. Ясно, чётко, неотвратно. Глаза стекленеют, ноги подкашиваются, кровь хлещет. Он видел смерть так же, как видит рассвет или снег. Разница была только в том, что рассвет и снег — сейчас, а смерть — через секунду.

Дар проснулся. Или изменился. Или стал сильнее.

Эйнар не знал, что хуже.

XVIII

Он остановился у замёрзшего ручья, чтобы передохнуть.

Ручей здесь был шире, чем утром — метра три в попереч-

нике. Лёд толстый, мутный, с вмёрзшими пузырьками воздуха. Подо льдом чернела вода, а в воде — что-то ещё. Камни? Водоросли? Или просто тени?

Эйнар поставил мешок на лёд, оперся на копьё.

Ноги гудели. Спина ныла. Плечо, на котором висел мешок, болело так, что хотелось отрубить его и оставить здесь, в лесу. Но нужно было идти дальше. До дома ещё час, не меньше.

Он посмотрел на лёд.

Лёд был гладким, отполированным ветром. На его поверхности играли блики — тусклые, серые, почти незаметные. Эйнар заставил себя отвернуться, но взгляд уже упал.

В глубине льда, под тонкой прозрачной коркой, он увидел лицо.

Своё.

Но не своё. Чужое, искажённое, с неестественно широко открытыми глазами и перекошенным ртом. Лицо человека, который кричит, но не издаёт звука. Лицо человека, который видит свою смерть.

Эйнар отшатнулся.

Копьё выпало из рук, звякнув о лёд. Мешок с мясом съехал с плеча и тяжело рухнул в снег. Эйнар отполз на шаг, потом на два, тяжело дыша.

Когда он снова посмотрел на лёд, там было только его настоящее отражение — усталое, бледное, с тёмными кругами под глазами. Ни крика, ни ужаса. Просто он сам.

Он сидел на снегу, тяжело дыша, и сжимал кулаки.

Дар не просто проснулся. Дар охотился на него.

XIX

Он поднялся, отряхнул колени. Подобрал копьё, взвалил мешок на плечо. Пошёл дальше, стараясь не смотреть под ноги, не смотреть в сторону любых блестящих поверхностей — на лёд, на лужи, на полированные стволы деревьев, на снег, отполированный ветром до зеркального блеска.

Лес, который он знал как свои пять пальцев, вдруг стал враждебным. Каждая гладкая поверхность таила угрозу. Каждый блик мог оказаться окном в видение. Каждая тень

— предвестником нового кошмара.

Он шёл и считал шаги.

Сто. Двести. Триста.

Когда счёт дошёл до пятисот, он увидел дым над верхушками сосен. Хижина. Дом.

Эйнар прибавил шаг.

XX

Он ввалился в хижину, не раздеваясь, скинул мешок у порога, прислонил копьё к стене, повесил лук на гвоздь.

Печь догорала — угли почти погасли. Он подбросил несколько поленьев, подул. Огонь занялся не сразу — пришлось повозиться с трутом и кремнем. Через пять минут пламя лизнуло кору, и тепло начало наполнять комнату.

Эйнар сел на скамью, стянул сапоги, снял куртку. Рубаха была мокрой от пота. Он снял и её, оставшись в одной нательной рубахе, и повесил на спинку скамьи к печи.

Потом налил ковш горячего настоя — вода ещё не остыла

— и выпил залпом.

Горечь обожгла горло, и это было хорошо. Боль от горячего отвлекла от мыслей.

Он сидел, глядя в огонь, и пытался не думать о том, что видел сегодня. О луже, где олень умирал дважды. О льде, где его собственное лицо кричало без звука.

Но мысли лезли сами.

XXI

Он вспомнил, как впервые проявился его дар.

Ему было семь лет. Деревенский праздник в честь зимнего солнцестояния. Костры, песни, запах жареного мяса. Мать надела серебряный кулон — подарок отца, гладкий, блестящий, с выгравированным на нём деревом жизни.

Эйнар смотрел на кулон. На его полированной поверхности отражался весь праздник — люди, огонь, дети, бегающие между взрослыми. А потом отражение изменилось.

Он увидел, как тонет сын кузнеца.

Мальчик, которого звали Торкель, стоял на краю проруби, смотрел в чёрную воду. А потом — оступился, упал, скрылся подо льдом. Руки хватаются за тонкую корку, лёд трескается, но не держит. Глаза — испуганные, распахнутые, смотрящие из-под воды наверх, на мир, который уже не спасти.

Эйнар закричал.

Он кричал, пока отец не схватил его за плечи, не тряхнул, не велел замолчать. Он пытался рассказать — про мальчика, про прорубь, про то, что случится через минуту. Но его не слушали. Думали, что он просто устал, что у него жар, что он говорит ерунду.

Через минуту мать Торкеля закричала.

Мальчика вытащили из проруби, но было поздно. Он захлебнулся, не успев сделать и глотка воздуха. Врать не было.

С тех пор Эйнара называли «Мороком». И с тех пор он боялся отражений.

XXII

Сейчас, сидя у печи, он снова чувствовал себя тем испуганным семилетним мальчишкой, который видел смерть и не

мог её предотвратить. Та же беспомощность. Тот же страх. Только теперь он был один. И никто не тряс его за плечи, не говорил, что всё будет хорошо.

Он вздохнул, потёр лицо ладонями.

Нужно было решать, что делать дальше. Дар не исчезнет. Он никогда не исчезал надолго. И если сегодняшнее утро было предвестником, то дальше будет только хуже.

Эйнар посмотрел на ведро.

Тряпка лежала ровно. Он не проверял её сегодня с утра — и забыл, и не хотел. Но теперь, когда он сидел здесь, в тепле, в безопасности, он понял, что должен проверить.

Он подошёл к ведру. Поднял тряпку. Заглянул внутрь.

Вода была тёмной, почти чёрной. В ней отражалось его лицо — бледное, с впалыми щеками и глубокими морщинами вокруг глаз.

Никаких видений. Только его собственное отражение, усталое и постаревшее.

Он опустил тряпку обратно.

XXIII

Он решил, что сегодня не будет больше смотреть в отражения.

Ни в воду, ни в лёд, ни в полированный обсидиан ножа. Даже в ложки, деревянные и шершавые, он не будет смотреть слишком пристально. Он запрет себя в хижине, закроет ставни, завесит все блестящие поверхности, и никто — даже его собственный дар — не сможет до него добраться.

Но он знал, что это не сработает.

Дар не зависел от его воли. Дар приходил, когда хотел, и ни ставни, ни тряпки, ни даже его собственная слепота не могли его остановить.

Эйнар лёг на лежанку, натянул овчину до подбородка. Печь потрескивала. Ветер за стеной выл, тонко и жалобно.

Он закрыл глаза.

XXIV

Сны не пришли.

Вместо них была темнота — вязкая, плотная, как смола. Эйнар плыл в этой темноте, не чувствуя тела, не слыша дыхания. Только темнота. Только тишина.

И вдруг — свет.

Тусклый, серый, как утреннее небо. Он увидел поляну, ту самую, где убил оленя. Но оленя не было. Вместо него в центре поляны стоял человек.

Себя он узнал не сразу. Человек был старше — лет на десять, а то и на двадцать. Седая голова, сгорбленная спина, руки, покрытые старческими пятнами. Человек стоял неподвижно, глядя прямо перед собой, и на его лице застыло выражение спокойного, почти блаженного покоя.

Он умирал.

Не от болезни, не от удара — просто заканчивалась жизнь, как заканчивается вода в колодце. Последний вздох, последний удар сердца. И тишина.

Эйнар смотрел на себя старого, умирающего, и не чувствовал страха. Только странное облегчение. Как будто эта смерть была не концом, а началом чего-то другого.

Потом видение исчезло.

XXV

Он проснулся от того, что печь погасла.

Угли затянуло пеплом, серым и тяжёлым. В хижине стало холодно — мороз пробирал сквозь стены, через щели в крыше, через земляной пол. Эйнар лежал, глядя в потолок, и думал о том, что видел во сне.

Своя смерть.

Не страшная, не кровавая — спокойная, почти желанная. Он умирал старым, на поляне, под серым небом, и на его лице была улыбка.

Он никогда не видел свою смерть раньше. Только чужие. Только оленя, мальчика, незнакомых людей в отражениях воды и металла. Но никогда — себя.

Дар изменился. Или Эйнар изменился. Или мир вокруг него начал трескаться по швам, и эти трещины теперь проходили сквозь него самого.

Он сел, нашарил ногами сапоги. Надел их, не зашнуровывая. Подошёл к печи, разгрёб пепел. Угли ещё тлели — едва-едва, красные точки в серой массе. Он подул на них, положил щепок, раздул огонь.

Свет заполнил хижину.

Эйнар посмотрел на ведро. Тряпка лежала ровно. Он не стал её поднимать.

Вместо этого он подошёл к двери, толкнул её и вышел на улицу.

Ночь ещё не уступила утру, но небо на востоке уже светлело — бледной, болезненной желтизной. Снег скрипел под сапогами, воздух был чист и прозрачен.

Эйнар посмотрел вверх, на звёзды, которые уже начинали гаснуть.

— Что ты от меня хочешь? — спросил он. Тихим, надтреснутым голосом. — Зачем ты мне это показываешь?

Звёзды не ответили. Только ветер прошелестел в ветвях сосен, да где-то далеко каркнул ворон.

Эйнар постоял ещё минуту, потом развернулся и пошёл обратно в хижину.

День только начинался.

А он уже устал.

Часть пятая: Утро нового дня

XXVI

Он вернулся в хижину, закрыл дверь, задвинул щеколду.

Печь разгорелась, жарко и весело. Эйнар подбросил ещё поленьев — берёзовых, сухих, тех, которые берёг для самых холодных дней. Сегодня был такой день. Не по погоде — по состоянию души.

Он сел на скамью, достал из мешка кусок оленьего мяса, отрезал ножом тонкую полоску и положил в рот. Сырое, холодное, с запахом крови. Жевал медленно, прислушиваясь к себе.

Мясо было вкусным. Жизнь продолжалась.

Он доел, вытер нож о штаны, убрал в ножны. Потом налил ковш воды из ведра — не глядя, опустив ковш на ощупь, подняв, не заглядывая внутрь. Выпил. Вода была холодной, с лёгким привкусом железа.

Он поставил ковш на полку и посмотрел на огонь.

Пламя танцевало, отбрасывая тени на стены. Тени были длинными, кривыми, похожими на людей, которые стояли вокруг и смотрели на него. Эйнар знал, что это просто игра света. Но сегодня он смотрел на них с осторожностью, готовый в любой момент отвернуться, если тени начнут двигаться неправильно.

Они не двигались.

Он сидел у печи, глядя в огонь, и думал о том, что видел сегодня — и наяву, и во сне. Олень, который умер дважды. Его собственное лицо на льду, искажённое криком. Старик на поляне, умирающий с улыбкой.

Все эти образы были частями одной картины, но он не мог сложить их в целое. Не хватало деталей. Или ума. Или того и другого.

Он вздохнул, потёр лицо ладонями.

Потом встал, подошёл к полке, где лежала береста и уголёк. Отломил кусок бересты, взял уголёк и начал писать.

Не слова — знаки. Те, которые он придумал много лет назад, чтобы запоминать видения. Круг — смерть. Квадрат — человек. Треугольник — отражение. Линия, пересекающая круг — смерть, увиденная заранее.

Он нарисовал оленя — упрощённо, четырьмя линиями. Потом круг. Потом линию, пересекающую круг. Потом знак вопроса — изогнутую линию, которую он использовал для того, что не понимал.

Он смотрел на рисунок и чувствовал, как внутри, где-то под рёбрами, снова заворочалось то тёмное и тяжёлое. Дар не успокоился. Он ждал.

Эйнар отложил бересту, встал.

Нужно было что-то делать. Сидеть в хижине и бояться каждого отражения — это не жизнь. Это существование. А он уже десять лет существовал. Может, пришло время что-то изменить.

Но что?

Он не знал. И это незнание было страшнее любого видения.

XXVII

Он оделся, взял копьё, вышел из хижины.

Солнце уже поднялось — бледное, мутное пятно за пеленой облаков. Снег искрился, но не ярко, а как-то болезненно, жёлто-серо. Воздух был холодным, но не морозным — сырым, липким.

Эйнар пошёл в лес.

Не за добычей — просто так, чтобы ходить. Чтобы ноги не затекли. Чтобы голова не закипела от мыслей. Он шёл без тропы, напрямик, проваливаясь в сугробы, цепляясь за кусты.

Лес молчал. Даже вороны не каркали.

Он шёл и думал.

О том, что дар — это не проклятие. Или не только про-

клятие. Сегодня утром он увидел смерть оленя за секунду до того, как она произошла, и это помогло ему сделать точный выстрел. Дар сделал его лучшим охотником. Может, лучшим из всех, кто когда-либо ходил по этим лесам.

Но цена была слишком высока.

Каждое видение оставляло шрам. Не на теле — на душе. Он видел смерть снова и снова, в сотнях отражений, и каждое отражение забирало часть его. Уносило с собой в ту чёрную, тёмную глубину, откуда нет возврата.

Он остановился у старой сосны, положил ладонь на кору.

— Я не хочу больше видеть, — сказал он дереву. — Забери это обратно. Я не просил.

Сосна молчала. Только ветка, на которую упал ком снега, качнулась, стряхивая белую тяжесть.

Эйнар убрал руку, повернулся и пошёл обратно.

XXVIII

Он вернулся в хижину за час до полудня.

Раздел дрова, сложил их у печи. Повесил мясо коптиться над огнём — тонкие полосы на деревянных прутьях, так, чтобы дым окутывал их, но не жёг. Расправил шкуру на раме, начал скоблить — счищать остатки жира и мяса.

Работа была тяжёлой, монотонной. Она не требовала мыслей, только движения. Эйнар скоблил и скоблил, пока плечи не начали ныть, а пальцы — сводить судорогой.

Потом он остановился, вытер пот со лба.

Шкура была почти готова. Ещё день-два — и можно будет выделывать.

Он посмотрел на ведро. Тряпка лежала ровно.

Он подошёл к ведру, поднял тряпку, заглянул внутрь.

Чёрная вода. Его лицо. Усталое, бледное, с тёмными кругами под глазами. Глубокая морщина между бровями — он даже не заметил, когда она появилась.

Никаких видений.

Он опустил тряпку.

Вечером он сидел у печи, ел варёное мясо и пил горячий настой.

Вкус мяса был пресным — он забыл посолить. Но есть можно. Он жевал, глядя в огонь, и чувствовал, как усталость растекается по телу, тяжёлая и тёплая.

За окном смеркалось. День прошёл.

Эйнар доел, облизал пальцы, вытер их о штаны. Потом поднялся, проверил, завешены ли все блестящие поверхности. Ведро — накрыто. Нож — в ножнах, в углу, под тряпичей. Топор — на полке, обухом к стене, чтобы не бликовал. Лук — на стене, но тетива матовая, не отражает.

Безопасно.

Он лёг на лежанку, натянул овчину до подбородка. Закрыв глаза.

Печь потрескивала. Ветер за стеной выл, тонко и жалобно. Где-то далеко, в лесу, завыл волк — один раз, коротко, и замолк.

Эйнар провалился в сон, и во сне снова увидел своё лицо в отражении льда. Но теперь лицо не кричало. Оно смотрело на него спокойно, почти ласково, и губы беззвучно шептали:

Это только начало.

XXX

Он проснулся затемно, как всегда.

Не от холода — от привычки. Сегодня не было той странной дрожи, которая разбудила его накануне. Только тишина. Обычная, утренняя, пустая.

Эйнар открыл глаза, посидел на лежанке несколько минут, приходя в себя. Потом встал, подошёл к печи, разжёг огонь.

Свет заполнил хижину.

Он проверил ведро — тряпка на месте. Нож — в ножнах. Топор — на полке.

Всё как всегда.

Он оделся, позавтракал остатками вчерашнего мяса, запил водой.

Потом взял копьё, лук, колчан и вышел из хижины.

Лес встретил его белым безмолвием. Снег скрипел под ногами, воздух был чист и прозрачен.

Эйнар пошёл на север, туда, где вчера нашёл оленьи следы. Не потому, что надеялся найти ещё одного раненого зверя — просто привычка. Утро. Охота. Лес.

Он шёл и старался не смотреть под ноги.

Потому что под ногами, в каждой лужице, в каждой ледяной корке, таилась смерть. Чья — не важно. Своя или чужая. Смерть есть смерть.

И она ждала его там, в отражении.

Он знал это.

И всё равно шёл.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 2

ГЛАВА 3. ШЁПОТ ЗА СПИНОЙ

Часть первая: Утро решения

I

Он проснулся затемно, как всегда, но на этот раз не поднялся сразу.

Эйнар лежал на спине, глядя в потолок, где в щели между брёвнами сочился слабый, почти невидимый свет умирающей луны. Сегодня не было ни дрожи, ни странного предчувствия — только глухая, тяжёлая уверенность в том, что этот день будет таким же, как вчера, и позавчера, и месяц назад. Таким же, как все дни, которые он прожил в этой хижине за последние десять лет.

Но сегодня он должен был идти в деревню.

Мысль о Терновой Гриве вызвала в желудке неприятное, тянущее чувство — не боль, а тошнотворное сосание под ложечкой, которое он знал слишком хорошо. Это чувство приходило каждый раз, когда он собирался к людям. Оно не было страхом — страх он перестал испытывать много лет назад, когда понял, что самые страшные вещи уже случились с ним, и ничего хуже быть не может. Это было отвращение.

Тяжёлое, вязкое, как грязь после дождя.

Он закрыл глаза и начал перебирать запасы.

Муки — на дне мешка, под лавкой. Горсть, не больше. Если испечь лепёшки из той муки, получится три, от силы четыре, и каждая будет с кулак. Этого хватит на неделю, если есть по половине в день. Но мука нужна была не только для лепёшек — густую похлёбку тоже варили с мукой, и без неё мясной бульон оставался просто горячей водой с мясом, сытный, но не питательный.

Соль — ещё хуже. Горшок, в котором она хранилась, был почти пуст. Эйнар провёл по дну пальцем несколько дней назад и нащупал тонкий, в палец, слой крупной серой соли, смешанной с каменной крошкой. Этой соли хватило бы на две, от силы три недели, если солить только похлёбку и не трогать мясо. Но сырое мясо без соли портилось быстрее, а вяленое без соли не вялилось — гнило. Значит, нужно было солить. И значит, соли было на###, не больше.

Наконечники для стрел. Из железа. Два осталось в берестяном коробе, оба кривые, с заусенцами, но других не было. Эйнар мог выковать новые — руда в лесу ещё попадалась, если знать, где искать. Но на это уходило время, а времени у него было много, вернее, времени было столько, что оно

превращалось в проклятие. Проклятие одиночества, в котором каждая минута длилась час, каждый час — день.

Нет. Проклятие не в одиночестве. Проклятие — в отражениях. Одиночество — это просто цена.

Он сел на лежанке, свесил ноги.

Пол был холодным, как всегда. Пятки нащупали знакомые неровности — ямку у левой ножки лежанки, камешек, вмёрзший в землю у печи, ложбинку, которую протоптали его собственные шаги за десять лет. Он пошевелил пальцами ног в шерстяных носках — носки были штопанные, в трёх местах, и дыра на правом мизинце снова расползлась. Нужно было зашить. Но не сейчас.

Сейчас нужно было собираться.

II

Он встал, подошёл к печи.

Угли ещё дышали — слабо, красновато, как умирающий зверь. Эйнар разгрёб их кочергой, подул. Искра, другой, третий — трут занялся не сразу, пришлось повозиться с кремнем, высекая искру снова и снова, пока пальцы не начали

неметь от напряжения. Наконец тонкая струйка дыма поднялась от трута, потом огонёк, маленький, жёлтый, дрожащий.

Он положил щепки, потом поленья — берёзовые, сухие, те, что берег для самых холодных дней. Сегодня был не самый холодный день по погоде, но по настроению — да. Настроение требовало тепла.

Пламя взметнулось, жёлтое и неровное, выхватив из темноты куски пространства: стену с вбитым в неё гвоздём, полку с глиняными мисками, тряпичный мешок с мукой, перетянутый кожаным ремешком, связку сушёных трав под толком, и ведро — ведро, накрытое тряпкой, в углу.

Эйнар посмотрел на ведро.

Тряпка лежала ровно. Он не проверял её сегодня. И вчера проверял только раз, перед сном. Внутри, под тряпкой, была вода, тёмная, почти чёрная, отстоявшаяся за три дня. В этой воде, если заглянуть, отражался потолок, и стены, и его собственное лицо — бледное, измождённое, с глубокими морщинами вокруг глаз и тёмными кругами под ними.

Но сегодня он не будет заглядывать. Сегодня — ни в коем случае.

Он отвернулся, подошёл к скамье, где лежала одежда.

III

Одеваться в день похода в деревню было особенным ритуалом.

Не таким, как обычно — не механическим, успокаивающим. Другим. Болезненным. Каждая деталь одежды была не просто защитой от холода, а щитом от взглядов. От крестных знамений. От сплёвываний через плечо. От того, как матери отворачивали лица детей.

Эйнар надевал нательную рубаху — ту, что поплотнее, с высоким воротом, закрывающим шею. На шее, на левой стороне, было родимое пятно, которое в деревне называли «меткой проклятого». Глупость, конечно — родимое пятно есть родимое пятно, — но люди видят то, что хотят видеть. А они хотели видеть знак. Знак того, что он не такой, как они. Знак того, что его можно бояться и ненавидеть.

Потом — шерстяная куртка на застёжках из кости. Та самая, которую он достал с убитого охотника много лет назад. Куртка была великовата, и он подпоясывал её ремнём, чтобы не болталась. На левом рукаве, чуть выше локтя, была дыра — недавняя, порвалась о сук, когда он нёс убитого оленя.

Дыру нужно было зашить. Но нитки у него не было, только сухожилия, которые он хранил в берестяной коробке. Сухожилия были тонкие, крепкие, но с ними возни много. Он решил, что зашьёт дыру потом. Или не зашьёт. Какая разница? В деревне не смотрели на его одежду. В деревне смотрели на его глаза.

Потом — штаны. Тоже шерстяные, с кожаными вставками на коленях. Вставки он сделал сам, когда протёр колени, пробираясь сквозь заросли сухой малины. Кожа была старая, дублёная, с тёмными пятнами от времени.

Потом — портянки. Свежие, из вчерашней стирки. Он наматал их особенно тщательно, потому что идти предстояло далеко — почти два часа до деревни, и два обратно, а если задержат переговоры (хотя какие переговоры — Бранн всегда говорит быстро, как отрезает), то и больше. Ногам должно быть удобно. Нельзя показывать слабость. Слабость в деревне — это мясо. Его растерзают.

Потом — сапоги.

Сапоги были старые, сбитые, со стоптанными каблуками и заплатками. Но подошва держалась крепко — железные шипы, которые он сам ковал прошлой осенью, вгрызались в лёд, не давая поскользнуться. Он сунул ногу в сапог — сна-

чала левую, потом правую, — и потянул на себя шнуровку. Затянул туго-туго, чувствуя, как сапог обхватывает голень.

Потом — ремень.

Ремень был широкий, из грубой воловьей кожи, с медной пряжкой. Медь он зачернил золой, чтобы не блестела. Пряжка мягко щёлкнула, встав в привычную дырочку — третью слева. За много лет кожа на ремне растянулась, и теперь он застёгивался не на вторую, как раньше, а на третью.

Потом — нож.

Обсидиановый клинок в ножнах из берёсты. Эйнар вытащил его, провёл пальцем по лезвию — остро. Правил вчера вечером, хотя нож почти не тупился. Просто нужно было чем-то занять руки. Вложил обратно, повесил на пояс.

Топор — тоже на пояс, слева.

Лук и копьё он оставил в хижине. В деревню нельзя было приходить с оружием — не потому, что запрещал закон, а потому, что это была бы провокация. Оружие пугало людей. А напуганные люди — самые опасные. Они не думают, они бьют. Бьют первыми, чтобы защитить себя от того, чего боятся.

Эйнар боялся не людей. Он боялся того, что может сделать с людьми его дар, если они доведут его до крайности.

Поэтому он шёл безоружным. Только нож — и тот спрятан под курткой, чтобы не блестел.

IV

Перед выходом он сел на скамью, съел лепёшку — последнюю, которая оставалась от вчерашней выпечки, — и запил горячим настоем. Настой был горьким, травяным, с запахом зверобоя и мяты. Он пил медленно, стараясь растянуть удовольствие, потому что следующая горячая еда будет только вечером, если повезёт.

Лепёшка была чёрствой, крошилась в пальцах. Он жевал, глядя в огонь, и думал о том, что ждёт его в Терновой Гриве.

Деревня Терновая Грива стояла на южном склоне холма, защищённая от северных ветров стеной старого леса. Там жило около трёхсот человек — крестьяне, охотники, кузнец, травница, старейшина Бранн. Три сотни людей, которые знали его в лицо. Три сотни людей, которые отворачивались при его появлении. Три сотни людей, которые шептали за спиной, крестились при встрече и учили своих детей бояться

«Морока».

Он не знал, почему они так боялись. Вернее, знал — но не понимал. Страх перед неизвестным. Страх перед тем, что ты не можешь объяснить. Страх перед человеком, который видит то, чего не должны видеть люди.

Он никому не желал зла. Он ни разу не использовал свой дар против человека, даже когда его били. Он просто хотел жить — тихо, незаметно, в своей хижине на отшибе, охотиться, менять шкуры на соль и муку и не мешать никому. Но этого было мало. Этого никогда не было мало для тех, кто боялся. Потому что страх не насыщается. Он растёт. Он пожирает разум, как червь пожирает яблоко, и в конце концов от яблока остаётся только пустая кожа.

Эйнар допил настой, поставил ковш на полку. Поднялся.

Пора.

V

Он снял с гвоздя запасной мешок — тот, в котором носил шкуры на обмен. Мешок был сшит из грубой конопляной дерюги, когда-то серой, а теперь грязно-бурой от времени и крови. Внутри лежали шкуры — три оленьи, которые

он выделявал всю прошлую неделю, и одна лисья, старая, прошлогодняя, но ещё хорошая. Лисью шкуру он берег для особого случая — может, сегодня она поможет выменять побольше соли.

Он пересчитал шкуры ещё раз, хотя знал, что их три. Оленьи — две тёмные, зимние, с густым подшёрстком, и одна летняя, потоньше, но без дыр. Лисья — рыжая, с белым кончиком хвоста, мягкая, как пух.

Бранн оценит. Бранн всегда оценивал честно — не потому, что был добрым, а потому, что знал: если занижить цену, Эйнар уйдёт к другому старейшине, в соседнюю деревню, а это невыгодно. Бранн был не глуп. Жадный, но не глупый.

Эйнар взвалил мешок на плечо, проверил, хорошо ли затянута горловина. Затянута.

Он подошёл к двери, положил ладонь на щеколду.

Вздохнул.

— Идём, — сказал он сам себе. — Не впервой.

Толкнул дверь.

Лес встретил его серым, безрадостным утром.

Солнце ещё не поднялось — или поднялось, но скрылось за плотной пеленой облаков, которые висели низко, почти над верхушками сосен. Снег был свежим — за ночь выпало немного, с палец, не больше, но этого хватило, чтобы укрыть старые следы и сделать лес чистым, нетронутым.

Эйнар шёл по тропе, которую знал как свои пять пальцев.

Тропа начиналась у порога хижины, вилась между кривыми берёзами, пересекала замёрзший ручей (там, где лёд был толще всего), поднималась на небольшой холм, поросший молодыми сосенками, и спускалась в низину, где всегда было сыро и даже зимой снег лежал рыхлый, как мука. Потом — ещё один подъём, и оттуда, с вершины, уже видна была деревня: серые крыши, чёрные трубы, редкие огоньки в окнах.

Он шёл беззвучно, по привычке, хотя в лесу никого не было. Пятка — носок — перенос веса. Снег под сапогами не скрипел, а мягко оседал, принимая его шаги. Он дышал но-

сом, приоткрыв рот, чтобы холодный воздух успевал согреваться.

Мешок со шкурами тянул вниз, но это была привычная тяжесть. Он нёс её легко, почти не замечая, — тело помнило, как носить тяжести. Десять лет одиночной жизни сделали его сильным, жилистым, выносливым, как старый корень, который не вырвать из земли.

Он думал о дороге, о снеге, о деревьях, о чём угодно, только не о том, что ждало впереди. Но мысли возвращались, как мухи к падали.

Он вспомнил свой первый приход в Терновую Гриву после того, как поселился в хижине. Ему было семнадцать, он был худым, грязным, с впалыми щеками и дикими глазами. Он нёс в мешке две заячьи шкуры — всё, что смог добыть за месяц. В деревне его встретили молчанием. Люди выходили из домов, смотрели, но никто не подошёл, никто не спросил, кто он и откуда. Только старая травница Хельга, та, которая лечила травами и говорила с духами (или притворялась, что говорит), перекрестилась трижды и прошептала: «Сын Пепла вернулся».

Он не знал тогда, что это значит — «сын Пепла». Узнал позже. От мальчишек, которые кидались камнями и крича-

ли: «Сын Пепла, сын Пепла, уходи, пока цел!» От старух, которые отворачивались и сплёвывали. От Бранна, который однажды, принимая шкуры, буркнул: «Твой отец был из пепла, ты и подавно».

Отец.

Эйнар не любил вспоминать отца — не потому, что отец был плохим, а потому, что больно. Отец умер, когда Эйнару было десять. Умер плохо, долго, с хрипом и пеной у рта, и перед смертью смотрел на сына глазами, в которых был не страх, а что-то другое, что Эйнар не мог понять тогда и не понимал сейчас.

Отец был плотником, но работал плохо — руки дрожали, инструменты валялись. В деревне его не любили, но терпели, потому что он не лез в чужие дела и платил налоги вовремя. Когда он умер, никто не пришёл на похороны, кроме матери и Эйнара. Мать плакала, а Эйнар стоял у могилы, сжимая в кулаке горсть земли, и не мог выдавить из себя ни слезинки.

Через год умерла мать. Тоже плохо, тоже долго. Эйнару было одиннадцать. Он остался один.

И с тех пор он всегда был один.

VII

Он шёл уже около часа, когда начал замечать следы человеческой деятельности.

Сначала — пни. Свежие, с жёлтой древесиной, ещё не потемневшей от времени. Кто-то вырубал лес на восточном склоне, там, где земля была суше и деревья росли прямее. Пни были аккуратные, ровно срезанные — работа хорошего лесоруба. Эйнар подумал, что это, наверное, сын кузнеца, тот самый, которого звали... как его? Он забыл имя. Да и какая разница.

Потом — плетень. Старый, покосившийся, с торчащими колыями. За плетнём, насколько хватало глаз, тянулись поля — пустые, покрытые снегом, с редкими стогами соломы, похожими на огромных спящих зверей. Летом здесь росли рожь и овёс, но сейчас была зима, и поля спали.

Потом — запахи. Дым, конечно, — от печей, из труб, тянуло дымком, горьковатым, почти сладким. И навоз — деревня всегда пахнет навозом, даже зимой, когда всё замёрзло. Запах вмёрз в землю, в стены домов, в одежду людей, и его нельзя было выветрить ни ветром, ни морозом.

Потом — звуки. Лай собак — далёкий, приглушённый

расстоянием. Стук топора — кто-то колот дрова, мерно, с интервалом в несколько секунд. Крик петуха — хриплый, надсадный, будто его резали.

Эйнар замедлил шаг.

Деревня приближалась. Он слышал её, чувствовал её запах, видел её очертания на горизонте — серые пятна на белом фоне, как кляксы на чистом листе.

Он остановился на вершине холма, передохнуть и собраться с мыслями.

VIII

Отсюда, с холма, Терновая Грива была видна как на ладони.

Три десятка домов, разбросанных без всякого порядка, как семена, которые посеял пьяный сеятель. В центре — площадь, где торговали и собирались на праздники. На площади — колодец с журавлём, длинным, похожим на шею вымершего ящера. У колодца — несколько фигур, женщин с корзинами, детей, бегающих между взрослых.

Дальше — дом Бранна, самый большой и крепкий, с же-

лезной скобой на двери и резными наличниками, которые были выкрашены охрой, чтобы казались богаче, чем на самом деле. Рядом — амбар, кузница, коптильня. И дальше — дома попроще, с соломенными крышами, придавленными тяжёлыми брёвнами, чтобы ветром не сдуло.

Эйнар смотрел на деревню и чувствовал, как внутри закипает то самое, тошнотворное сосание под ложечкой.

Он не хотел туда идти. Никогда не хотел. Но соль не вырастала на деревьях, мука не падала с неба, а железо не плавилось само собой. Ему нужны были люди. Ему нужен был Бранн. Как бы сильно он ни ненавидел эту зависимость, она была фактом, с которым нельзя спорить, как нельзя спорить с тем, что зима сменяет осень, а смерть — жизнь.

Он перекинул мешок на другое плечо и пошёл вниз, к деревне.

IX

Окраина деревни встретила его тишиной.

Не той живой тишиной леса, где каждый звук имеет значение и смысл, а мёртвой, пустой тишиной, которая возникает, когда люди замолкают, завидев нежеланного гостя.

Эйнар шёл по улице, и двери домов закрывались перед ним. Не с грохотом — тихо, осторожно, будто люди боялись, что звук может привлечь его внимание. Щеколды щёлкали, засовы скрежетали, и через мгновение улица становилась ещё пустее, ещё безжизненнее.

Он не смотрел по сторонам. Он смотрел под ноги — на снег, на грязные лужи, на обледенелые колдобины, — и старался не замечать ни закрывающихся дверей, ни любопытных глаз, выглядывающих из щелей между ставнями.

Но он всё равно видел.

Краем глаза — женщину, которая выскочила из дома с корзиной белья и, увидев его, шарахнулась обратно, будто наткнулась на змею. Краем глаза — мальчишку, который сидел на плетне и грыз корку хлеба; мальчишка замер с открытым ртом, хлеб выпал у него из рук, и он так и сидел, не дыша, пока Эйнар не прошёл мимо. Краем глаза — старуху, которая крестилась мелко-мелко, трясущейся рукой, и шептала что-то, наверное молитву, наверное против порчи.

Он чувствовал их взгляды на спине. Тяжёлые, липкие, как паутина. Десять взглядов. Двадцать. Тридцать. Все, кто видел его, смотрели ему вслед, и эти взгляды давили на плечи,

на шею, на затылок, заставляя голову клониться ниже, ниже, ниже.

Но он не клонил. Он шёл прямо, смотря вперёд, и не ускорял шаг.

Никогда не ускорял.

Х

Мальчишка с камнем появился из переулка неожиданно.

Он был маленьким, лет семи-восьми, в драной овчине и огромных, явно чужих сапогах, которые болтались на ногах, как вёдра. Лицо — чумазое, с размазанными соплями и блестящими от возбуждения глазами. В руке — камень, средний, с куриное яйцо, с острыми краями.

Мальчишка выскочил прямо перед Эйнарсом, загородив дорогу, и замер на секунду, будто проверяя, не ошибся ли. Потом, набрав в грудь воздуха, крикнул:

— Морок! Морок идёт! Морок!

Голос был тонкий, детский, срывающийся на фальцет. Но в этом голосе не было страха — только злорадство, то осо-

бенное, жестокое злорадство, на которое способны только дети, когда чувствуют себя в безопасности за спинами взрослых.

Эйнар не остановился. Он продолжал идти, и мальчишка, поняв, что его игнорируют, рассвирепел.

— Я сказал — Морок! — заорал он ещё громче. — Слышишь, Морок?! Сын Пепла проклятый! Убирайся отсюда, пока цел!

Камень полетел.

Эйнар не уклонился. Не потому, что не мог — он видел полёт камня так же ясно, как видел снег под ногами, — а потому, что уклоняться было бессмысленно. Камень ударил в плечо — левое, то самое, где была дыра на куртке, — и отскочил, упав в снег с глухим стуком.

Боль была несильной. Камень был не тяжёлым, и мальчишка был слаб. Но место ушиба заныло, тупо, неприятно, как напоминание о том, что он здесь чужой.

Эйнар шёл дальше, не оборачиваясь.

За спиной мальчишка закричал снова, но слов Эйнара уже

не разобрал — детский голос потонул в другом шуме, в том, что поднимался в его собственной голове.

Там, в голове, шумела кровь. Или не кровь — что-то другое. То самое, тёмное и тяжёлое, что жило под рёбрами и просыпалось в моменты опасности. Сейчас опасности не было, но дар всё равно шевелился, будто чувствовал, что вокруг — вражда, и готовился к защите.

Эйнар сжал кулаки, заставив себя дышать ровно.

Не сейчас. Не здесь. Не при людях.

Он успокоил дыхание к тому моменту, как вышел на площадь.

Часть третья: Площадь

XI

Площадь в Терновой Гриве была пуста.

Впрочем, не совсем пуста. У колодца стояли три женщины с корзинами — две пожилые, одна молодая. Они разговаривали, смеялись — негромко, по-бабьи, — но, когда Эйнар появился на краю площади, смех оборвался, как ножом

отрезало.

Женщины замерли, глядя на него.

Эйнар шёл через площадь, не сворачивая, не ускоряясь, не замедляясь. Мешок со шкурами висел на плече, нож под курткой не блестел, руки были пусты и открыты. Он не представлял угрозы. Он был просто человеком, который шёл по своим делам.

Но женщины смотрели на него так, будто он нёс в руках чуму.

Одна из пожилых — толстая, в сером платке, с красным, обветренным лицом — перекрестилась. Другая — тощая, с острым носом и злыми глазами — сплюнула через левое плечо. Молодая, та, что стояла чуть поодаль, смотрела с любопытством, почти с жалостью, но когда пожилая отдёрнула её за рукав, отвела взгляд и уставилась в землю.

Эйнар прошёл мимо.

Он слышал, как за спиной тощая прошипела:

— Глазастый... Принёс бы кто беду...

— Тихо ты, — ответила толстая. — Услышит.

— А пусть слышит. Правду говорю. С тех пор как он здесь появился, скотина дохнет, дети болеют. Наслал порчу, колдун поганый.

— Не колдун он. Такой же человек.

— Человек? — Тощая хрипло рассмеялась. — Человек в отражениях смерть видит? Человек без зеркал жить не может? Не человек он. Морок. И сын Пепла.

— Тихо, говорю.

Эйнар отошёл достаточно далеко, чтобы не слышать продолжения. Но слова всё равно жгли спину, как клеймо.

Он не колдун. Он никогда не учился магии, не заключал сделок с тёмными силами, не приносил жертв. Его дар — это проклятие, которое досталось ему по рождению, как цвет глаз или группа крови. Он не просил его. Он не хотел его. Он пытался от него избавиться — молился, постился, пил горькие травы, которые, как говорили, отшибают дар. Ничего не помогало.

Но люди не верят в невиновность того, кого боятся. Для

них страх — это доказательство вины. Если ты вызываешь страх — значит, ты виноват. Виноват в том, что ты есть. Виноват в том, что родился не таким, как они.

Эйнар давно перестал оправдываться. Оправдания бесполезны. Страх не лечится словами.

ХП

Дом Бранна стоял в дальнем конце площади, у самого леса.

Он был не похож на другие дома — больше, выше, срублен из толстых сосновых брёвен, которые даже не почернели от времени. Крыша была крыта тёсом, не соломой, и на коньке торчал железный петух — ржавый, но всё ещё различимый. Окна — большие, со стеклянными вставками (стекло в деревне было редкостью, роскошью, которую могли позволить себе только самые богатые). Дверь — дубовая, с железной скобой и тяжёлым кольцом вместо ручки.

Эйнар подошёл к калитке и остановился.

Заходить во двор без приглашения было нельзя — не по закону, а по неписаному правилу, которое здесь соблюдали строже, чем любой закон. Чужак на дворе Бранна — это

оскорбление. А Эйнар был не просто чужаком — он был изгоем, проклятым, тем, кто приносит несчастье.

Он ждал.

Минуту. Две. Пять.

Из дома доносились голоса — Бранн с кем-то разговаривал, глухо, неразборчиво. Потом хлопнула дверь, и на крыльцо вышел молодой парень, сын Бранна — кажется, его звали Эйрик. Высокий, плечистый, с рыжей бородой и тяжёлым, исподлобья взглядом. Он посмотрел на Эйнара, не здороваясь, и скрылся за углом дома, даже не спросив, что нужно.

Эйнар ждал дальше.

Наконец дверь открылась снова, и на пороге появился сам Бранн.

XIII

Старейшина был в овчинном полушубке, подпоясанном широким ремнём, и в валенках, подшитых кожей. Он был невысоким, коренастым, с тяжёлыми, натруженными руками и маленькими, умными глазами, которые смотрели на мир с недоверием и расчётом.

Бранн не вышел из дома — он остановился на пороге, заложив руки за спину, и смотрел на Эйнара сверху вниз (хотя ростом был почти одинаков). Смотрел долго, молча, будто оценивал что-то — не шкуры, не состояние Эйнара, а что-то другое, что было важно только ему одному.

Эйнар не отводил взгляда, но и не встречал его. Он смотрел чуть в сторону, на железного петуха на крыше, и ждал.

— Что принёс? — спросил Бранн наконец.

Голос у него был низкий, сиплый, с хрипотцой — то ли простуженный, то ли от природы. Говорил он коротко, рублеными фразами, как человек, который привык, чтобы его слушали и не перебивали.

Эйнар снял мешок с плеча, развязал горловину, выложил шкуры на снег у порога.

Сначала — две олени, тёмные, зимние. Потом — летнюю, потоньше. Потом — лисью, рыжую, с белым кончиком хвоста.

Бранн молча осмотрел каждую. Не торопился. Переворачивал, щупал, нюхал. Проверил швы, которыми Эйнар за-

шивал дыры. Потёр мех между пальцами, проверяя, не сыпется ли. Подул на шерсть, чтобы увидеть, как ложится подшёрсток.

— Две олени — хороши, — сказал он наконец. — Летняя — так себе. Лисья — старая.

— Лисья — мягкая, — ответил Эйнар. Голос прозвучал глухо, непривычно — он так редко говорил, что связки с трудом выталкивали слова. — На воротник пойдёт.

Бранн посмотрел на него поверх шкур. Взгляд был тяжёлый, изучающий.

— На воротник? — переспросил он. — Кому? Тебе?

Эйнар промолчал.

— Ладно, — Бранн махнул рукой. — Цену знаешь. Две олени — по пять мер соли, летняя — три, лисья — две. Итого пятнадцать мер. Или мукой, или пополам. Как хочешь.

Эйнар кивнул. Цена была обычной, даже чуть выше, чем в прошлый раз. Бранн не обманывал — может, потому, что боялся, что Эйнар уйдёт к другому старейшине, а может, потому, что сегодня был в хорошем настроении. Какая разни-

ца.

— Пополам, — сказал Эйнар. — Восемь мер соли, семь муки.

Бранн хмыкнул — не то одобрительно, не то насмешливо. Повернулся, ушёл в дом. Через минуту вернулся с двумя мешками — один с солью, другой с мукой. Мешки были небольшими, затянутыми кожаными ремешками.

Он не подошёл к Эйнару — поставил мешки у порога, на снег, отступил на шаг и кивнул:

— Забирай.

Эйнар подошёл, поднял мешки. Соль тяжелее — потянула руку вниз. Мука легче, но мешок был больше, неповоротливый. Он перекинул соль через плечо, муку взял в руку.

— Сын Пепла, — сказал Бранн, когда он уже повернулся, чтобы уйти.

Эйнар остановился, не оборачиваясь.

— Ты бы не ходил сюда так часто, — добавил Бранн. Голос его звучал почти спокойно, почти беззлобно. — Люди

боятся. Я тоже не рад тебя видеть, но мне шкуры нужны. А людям — не нужны твои шкуры. Людям нужно, чтобы ты исчез. Понял?

Эйнар помолчал. Потом кивнул — раз, коротко, — и пошёл прочь.

XIV

На обратном пути через площадь он снова прошёл мимо женщин у колодца.

Теперь их было больше — человек шесть, может, семь. Они стояли плотной группой, сдвинувшись, как стадо, почуявшее хищника. В руках у некоторых были вёдра, у одной — коромысло. Все смотрели на Эйнара.

Он шёл, не сворачивая. Мешки оттягивали плечи, снег скрипел под сапогами.

И тогда кто-то — он не понял, кто именно, голос был женский, но неразличимый, — сказал громко, на всю площадь:

— Принёс бы кто беду.

Сказал не в спину — в лицо. Громко, нарочито, чтобы он

слышал.

Эйнар не остановился.

— Сын Пепла, — добавил другой голос, мужской, откуда-то сбоку, из-за плетня. — Исчадие. Морок.

— Проходи, проходи, глазастый, — третий, тоже женский, противный, с дребезжанием. — Нечего тебе здесь делать.

Эйнар шёл.

Камней больше не кидали. Но слова били сильнее камней.

Он не отвечал. Никогда не отвечал. Ответы — это диалог, а диалог предполагает, что другая сторона готова слушать. Эти люди не были готовы слушать. Они были готовы бояться и ненавидеть. И ничего, что он мог сказать, не изменило бы этого.

Он вышел с площади, прошёл мимо последних домов, мимо покосившегося плетня, мимо старой, засохшей ивы, которая росла у околицы и которую в деревне называли «ведьминой». И только когда он ступил на тропу, ведущую в лес, — только тогда он выдохнул.

Выдохнул так, будто не дышал все последние десять минут.

Часть четвёртая: Лесной переход

XV

Лес принял его, как принимают домой блудного сына — без упрёков, без вопросов, с тихой, молчаливой лаской.

Деревья сомкнулись за спиной, скрыв деревню, скрыв площади, скрыв женщин с вёдрами и Бранна с его тяжёлым взглядом. Остались только сосны, берёзы, снег и тишина.

Но тишина была не той, что раньше.

Эйнар шёл, переставляя ноги, и чувствовал, как дрожат руки. Не от холода — от напряжения, которое наконец отпускало, оставляя после себя пустоту и слабость. Он нёс соль, нёс муку, нёс на плечах тяжесть чужой ненависти, и эта тяжесть была тяжелее любого мешка.

Он хотел остановиться, сесть на пенёк, закрыть глаза и просто посидеть, ни о чём не думая. Но не мог. Если он остановится сейчас, он не встанет. Он сядет в снег, и будет сидеть, и будет слушать, как внутри, под рёбрами, затихает дар,

и не сможет заставить себя подняться.

Поэтому он шёл. Шаг за шагом. Механически, как заведённый механизм, который не знает усталости, потому что усталость — это для живых.

XVI

Шёпот начался, когда он прошёл около получаса.

Сначала — едва слышный, как ветер в сухой траве. Эйнар не обратил внимания — в лесу всегда есть звуки, даже когда кажется, что тихо. Снег скрипит, ветки поскрипывают, где-то далеко дятел стучит.

Но шёпот приближался.

Он стал громче, чётче, различимее. И в нём, в этом шёпоте, были слова. Не просто звуки — слова. Настоящие, человеческие слова, произнесённые шёпотом, но с той отчётливостью, которая бывает только во сне.

Эйнар остановился, прислушался.

Шёпот затих.

Он постоял минуту, другую. Ничего. Только лес, только ветер, только собственное дыхание.

— Показалось, — сказал он вслух, чтобы убедить себя. Голос прозвучал неуверенно.

Он пошёл дальше.

Шёпот вернулся через двести шагов.

Теперь он был прямо за спиной. Эйнар слышал его так отчётливо, будто кто-то стоял в двух шагах и шептал ему на ухо. Шёпот был неразборчивым — слова сливались в сплошной поток, в котором нельзя было уловить ни начала, ни конца. Но интонация... интонация была узнаваемой.

Она была насмешливой.

Эйнар резко обернулся.

Никого.

Тропа пуста. Снег нетронут. Ни следов, ни теней, ни движения. Только деревья, только сугробы, только серое небо над головой.

Сердце колотилось где-то в горле, больно и часто. Эйнар сжал кулаки, заставив себя дышать ровно.

— Кто здесь? — спросил он.

Тишина.

— Кто здесь?! — повторил он громче.

Ничего.

Он постоял ещё минуту, вглядываясь в чашу, в темноту между стволами, в те места, где могли бы спрятаться человек или зверь. Никого.

Он повернулся и пошёл дальше. Но теперь он шёл быстрее, почти бегом, и не оборачивался.

XVII

Шёпот преследовал его до самой хижины.

Он то отставал, то нагонял, то затихал совсем, то возвращался с новой силой. Временами Эйнару казалось, что шёпот идёт не снаружи, а изнутри — из его собственной головы, из того тёмного места, где жил его дар. Временами ему

чудилось, что шёпот говорит с ним на языке, которого он не знает, но который понимает — так понимают музыку, не зная нот.

Он пытался не слушать. Сосредоточиться на дороге, на снеге, на том, как ноги перебирают по насту, как мешки оттягивают плечи, как соль колется сквозь дерюгу. Но шёпот проникал сквозь все преграды, сквозь все мысли, сквозь все попытки заткнуть уши.

И в конце концов, когда хижина уже показалась из-за деревьев, Эйнару показалось, что он разобрал слова.

Два слова.

Всего два.

«Сын Пепла».

Он замер как вкопанный.

Сын Пепла. Так его называли в деревне. Так называли его мать и отец — за глаза, когда думали, что он не слышит. Так называли его те, кто знал его с детства, и те, кто никогда не видел его раньше.

Но лес не мог знать этого имени. Лес не мог шептать его.

Если только это не был...

Он не закончил мысль. Не захотел.

Он подошёл к хижине, толкнул дверь плечом, ввалился внутрь, и захлопнул дверь за собой с такой силой, что щеколда едва не сломалась.

Часть пятая: Дом

XVIII

В хижине было темно — печь давно погасла, и только редкие угли ещё тлели, бросая багровые блики на стены.

Эйнар поставил мешки с солью и мукой на пол, прислонил их к лавке, и сел на лежанку, тяжело дыша. Руки дрожали — не от холода, не от усталости, от страха. Да, страха. Он признал это, потому что врать самому себе было глупо.

Он боялся.

Не людей — их он уже не боялся, с ними было всё ясно. Он боялся того, что шептало ему в лесу. Боялся своего дара,

который становился сильнее, который выходил из-под контроля, который начинал говорить с ним голосом, которого он не узнавал.

Он сидел на лежанке, сжавшись в комок, и смотрел на ведро.

Ведро стояло в углу, накрытое тряпкой. Тряпка лежала ровно — он не проверял её сегодня с утра, но она не сбилась, не сползла. Вода под тряпкой была тёмной, почти чёрной, и в ней, если заглянуть, отражалось его лицо — бледное, измождённое, с тёмными кругами под глазами.

Или не его.

Он не знал. И не хотел проверять.

Он встал, подошёл к печи, разжёг огонь. Пальцы слушались плохо — дрожали, соскальзывали с кремня, и искра падала не туда, куда нужно. Он злился на себя, на свою слабость, на свой страх, и эта злость помогла. На четвёртый раз трут занялся, и через несколько минут огонь уже весело потрескивал в печи, разгоняя темноту.

Свет заполнил хижину — жёлтый, тёплый, знакомый. Тени затанцевали на стенах, и среди этих теней Эйнару снова

почудилось что-то чужое — чья-то фигура, чей-то силуэт, стоящий за его спиной.

Он обернулся.

Никого.

Только его собственная тень, длинная и кривая, тянулась от печи к двери, дрожа в такт пламени.

XIX

Он не стал проверять ведро. Не стал смотреть в воду, не стал искать отражений, не стал искушать судьбу.

Вместо этого он принялся за работу.

Работа — вот что спасало его всегда. Работа, которая не оставляла времени на мысли, на страхи, на шёпот. Работа, в которой тело двигалось само, без участия разума, и разум мог отключиться, отдохнуть, спрятаться в тёплую, безопасную пустоту.

Он высыпал соль из мешка в глиняный горшок, тот, что стоял под лавкой. Соль была серой, крупной, с каменной крошкой — но это была соль, и это было хорошо. Он при-

крыл горшок деревянной крышкой, придавил камнем, чтобы мыши не добрались.

Потом — мука. Он пересыпал её в берестяной короб, тот, который сам сплёл прошлым летом из берёсты, вымоченной в воде. Короб был герметичным — мука в нём не сырела и не покрывалась плесенью. Эйнар затянул короб ремешком и поставил на полку, повыше, подальше от влаги и грызунов.

Потом он принялся за шкуры, которые остались в мешке. Не те, что он отдал Бранну, — другие, старые, которые не взяли в прошлый раз. Лисьи и заячьи, мелкие, с дырами и проплешинами. Он решил их выделать — замочить в золе, отскоблить, просушить, потом продать подешевле или обменять на что-нибудь полезное.

Работа была грязной, вонючей, неприятной. Но она была работой.

Он скоблил шкуры, пока не начали ныть плечи и не заболели пальцы. Он скоблил, пока пот не залил глаза и не закапал на шкуры, смешиваясь с золой и жиром. Он скоблил до тех пор, пока в голове не осталось ни одной мысли, кроме тупого, животного ритма: скребок — шкура, скребок — шкура, скребок — шкура.

А когда он закончил и распрямил спину, то почувствовал, что дрожь прошла. Усталость вытеснила страх. И шёпот — настоящий шёпот, тот, что преследовал его в лесу, — теперь казался далёким, почти нереальным.

Эйнар вытер руки о тряпку, подошёл к печи, повесил котелок с водой.

— Заварим чай, — сказал он вслух. — И будем жить дальше.

XX

Чай — точнее, травяной настой — он пил долго, маленькими глотками, глядя в огонь.

Пламя танцевало, отбрасывая тени на стены. Тени были длинными, кривыми, похожими на людей, которые стояли вокруг и смотрели на него. Эйнар знал, что это просто игра света. Но сегодня он смотрел на них с осторожностью, готовый в любой момент отвернуться, если тени начнут двигаться неправильно.

Они не двигались.

Он допил настой, поставил ковш на полку. Потом лёг на

лежанку, натянул овчину до подбородка, закрыл глаза.

Печь потрескивала. Ветер за стеной выл, тонко и жалобно.

Шёпота не было.

Только тишина — та самая, пустая, которая была у него дома.

Эйнар провалился в сон, и во сне не было ни отражений, ни смертей, ни людей, которые крестятся и отворачиваются. Только лес. Только снег. Только он сам, идущий по тропе, ведущей в никуда.

Он шёл и не оглядывался.

Завтра будет новый день. А сегодня — сегодня он выжил. И это было главным.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 3

ГЛАВА 4. ОСКОЛОК ПАМЯТИ

Часть первая: Рука на осколке

I.

Он просидел у печи до тех пор, пока угли не превратились в пепел.

Эйнар не заметил, как прошло время. Сначала он смотрел на огонь — как пламя лижет берёзовые поленья, как искры взлетают вверх и гаснут, не долетев до потолка. Потом огонь стал тише, потом совсем затих, оставив после себя только тлеющие угли, похожие на красные глаза, которые смотрели на него из темноты. Потом и угли погасли.

Хижина наполнилась холодом. Не резким, не тем, от которого стучат зубы, — медленным, ползучим, который пробирается под одежду, под кожу, под рёбра. Эйнар поёжился, но не встал, чтобы подбросить дров. Не потому, что лень — просто не было сил. Не физических — душевных.

Дорога в деревню вымотала его больше, чем три дня охоты подряд. Не тяжестью мешков, не долгой ходьбой — людьми. Их взглядами. Их шёпотом. Тем, как они отворачивались, крестились, сплёвывали через плечо.

И тем шёпотом в лесу — потом, на обратном пути. Тем, который не мог быть настоящим, потому что в лесу никого не было. Но был.

Эйнар сидел на лежанке, ссутулившись, и смотрел на свои руки. Руки лежали на коленях — большие, жилистые, с узловатыми пальцами. На правой, между большим и указательным, темнела впадина — след от ожога, который он получил много лет назад. Он почти не помнил, как это случилось. Кажется, вытаскивал уголёк из костра голыми руками, когда был мальчишкой. Или не уголёк. Что-то другое.

Он потёр шрам большим пальцем левой руки, чувствуя бугристую, неровную поверхность. Кожа в этом месте была тонкой, блестящей, без волос — навсегда отмеченная огнём.

— Серебро, — вдруг сказал он вслух.

Голос прозвучал хрипло, чуждо — будто говорил не он, а кто-то другой, кто застрял у него в горле и теперь пытался выбраться.

Он не понял, зачем сказал это слово. Оно пришло само, из ниоткуда, из той чёрной тишины, что накопилась внутри за долгие годы молчания. Серебро. Металл, который блестит. Металл, который отражает. Металл, которого он избегал всю

жизнь.

Эйнар поднялся, подошёл к лежанке, опустился на колени. Засунул руку под доски — туда, где в выдолбленной в земле ямке хранилось то, что он не выбрасывал, но и не смотрел. Ладонь нащупала берестяной короб — шершавый, прохладный, с тугим ремешком, который он завязал много лет назад и с тех пор не развязывал.

Он вытащил короб, сел на пол, прислонившись спиной к лежанке.

II.

Короб был сплетён из берёсты ещё его матерью. Эйнар не помнил, как она это делала — только смутные обрывки: её пальцы, быстрые и ловкие, полоски жёлтой коры, миска с горячей водой, в которой она размачивала берёсту, чтобы та стала гибкой. Потом короб сушили на печи, и он пах дымом и лесом, и этот запах сохранился до сих пор, хотя прошло уже больше двадцати лет.

Эйнар провёл пальцами по плетению. Берёста была тёмной, почти чёрной в некоторых местах, кое-где потрескалась и отходила. Короб доживал свой век. Как и всё в этой хижине. Как и он сам.

Он долго сидел, не развязывая ремешка. Пальцы дрожали — не от холода, от того, что внутри, под рёбрами, снова заворочался дар. Он чувствовал это как тяжесть, как тупую, ноющую боль, которая начиналась где-то в солнечном сплетении и расходилась волнами к рукам, к ногам, к голове.

— Не сейчас, — прошептал он. — Пожалуйста. Не сейчас.

Дар не слушался. Или слушался, но не хотел отступать. Тяжесть росла, и Эйнар понял: если он откроет короб сейчас, если посмотрит на то, что внутри, — видение придёт. Он не знал, какое — хорошее или плохое, своё или чужое, — но знал, что оно придёт. Неизбежно, как рассвет.

Он закрыл глаза и сосредоточился на дыхании.

Вдох. Холодный воздух обжёг ноздри.

Выдох. Пар растворился в темноте.

Вдох. Выдох.

Он считал дыхания, как учил себя в юности, когда припадки были особенно сильными и он боялся, что сойдёт с ума. Раз, два, три, четыре, пять. С каждым выдохом тяжесть

становилась чуть меньше, боль чуть тише. На десятом вдохе дар успокоился — не исчез, нет, он никогда не исчезал, — но отступил, затаился, как зверь в норе, который чувствует опасность, но не решается вылезти.

Эйнар открыл глаза.

Развязал ремешок.

III.

Внутри короба лежали вещи, которые не имели цены. Никто не дал бы за них и горсти соли, но для Эйнара они были дороже любых шкур.

Птичье перо — воронье, чёрное, с синеватым отливом. Он нашёл его в день, когда умерла мать. Перо лежало на пороге хижины, будто кто-то положил его специально. Эйнар тогда поднял его, хотел выбросить, но почему-то не выбросил. Сунул в карман, а потом — в короб. И с тех пор перо лежало там, напоминая о том, что даже ворон, вестник смерти, может быть красивым.

Камешек с реки — гладкий, серый, с белой прожилкой. Он подобрал его в тот день, когда впервые увидел своё отражение и не испугался. Ему было тогда пятнадцать. Он стоял

на коленях у ручья, смотрел на воду, и вода смотрела на него. Никаких видений. Только усталое, загорелое лицо, покрытое веснушками и грязью. Он взял камешек со дна, сжал в кулаке и унёс с собой. Камешек был холодным, гладким, и в нём ничего не отражалось. Безопасный камешек. Единственная вещь, глядя на которую он не боялся увидеть смерть.

Уголёк — чёрный, лёгкий, рассыпающийся в пальцах. От чего он остался — от костра, от печи, от пожара — Эйнар уже не помнил. Уголёк лежал в коробе с самого начала, с тех пор, как мать сплела этот короб и сказала: «Это для твоих сокровищ». Тогда у него были другие сокровища — деревянная лошадка, которую вырезал отец, пёстрая ленточка, которую подарила какая-то девочка, и этот уголёк, чёрный и некрасивый, но почему-то самый ценный. Деревянная лошадка давно сгорела в печи — он сам бросил её в огонь, когда был злым и одиноким. Ленточка истлела, превратилась в труху. А уголёк остался.

И осколок.

Осколок лежал на дне короба, завёрнутый в тряпицу — серую, льняную, ту самую, которой Эйнар когда-то завешивал ведро. Тряпица была старой, вытертой, с бахромой по краям. Он взял её, развернул.

IV.

Серебро блеснуло даже в тусклом свете умирающих углей.

Осколок был маленьким — с ноготь большого пальца, чуть больше. Неровный, с оплавленными краями, которые застыли каплями, когда-то жидкими, а теперь твёрдыми и острыми. На внутренней стороне сохранился фрагмент узора — кусочек ветки, завиток, который мог быть листом или корнем. Дерево жизни. Его мать носила этот кулон на шее, и отец подарил его ей в день свадьбы, и бабка носила до этого, и прабабка — говорят, он был очень старым, этот кулон, старше самой Терновой Гривы, старше, может быть, даже Серых Холмов.

Эйнар держал осколок на ладони, не поднося к глазам. Он знал: если посмотреть на него — на полированную поверхность, которая чудом уцелела в огне, — можно увидеть что-то. Не обязательно смерть. Но что-то, что он не хотел видеть сегодня. Не сейчас. Не после того дня.

— Не смотри, — сказал он себе. — Не смотри, не надо.

Но пальцы уже подносили осколок ближе. Не слушались. Как всегда, когда дар просыпался. Эйнар зажмурился, сжал осколок в кулаке так, чтобы серебро впилось в ладонь ост-

рыми краями.

Боль отрезвила.

Он разжал кулак, положил осколок на тряпицу, замотал обратно.

Но воспоминание уже пришло.

Не через глаза — через кожу, через пальцы, через старый шрам на правой руке, который вдруг заныл, запульсировал, будто рана открылась снова, и из неё потекла не кровь, а память.

Эйнар закрыл глаза, и темнота за веками стала не чёрной, а золотистой, как огонь костра, и в этом огне начали появляться лица.

Часть вторая: Праздник солнцестояния

V.

Лето в Терновой Гриве было зелёным, шумным и пахло мёдом.

Эйнару семь лет. Он бегают по траве босиком, хотя мать велела надеть сапоги, потому что в траве могут быть змеи и острые камни и вообще «не приучен ты, сынок, к босоногой жизни, как другие дети». Но сапоги жмут, и в них жарко, и вообще — все бегают босиком, даже дочка кузнеца, которая зовётся Астрид и у неё косички рыжие, как хвост лисы.

Эйнар бегают и смеётся. Он смеётся легко, как все семилетние, — без причины, просто потому, что солнце светит, и трава щекошет пятки, и где-то там, у колодца, готовят жареного барана, а мать обещала дать ему самый большой кусок, с хрустящей корочкой.

Праздник летнего солнцестояния — самый весёлый день в году. Даже отец, который всегда хмурый и молчаливый, сегодня надел белую рубаху и не отмахивается, когда сосед хлопает его по плечу. Даже старая Хельга, травница, которую все боятся, потому что она знает травы, от которых можно уснуть навсегда, — даже она улыбается и дарит детям леденцы из мёда и корня солодки.

В центре площади сложили огромный костёр — из сосновых брёвен, берёзовых веток и сухой травы. Костёр ещё не зажгли — зажгут, когда стемнеет, и тогда все будут плясать вокруг огня, петь песни и прыгать через угли, чтобы год был

удачным и плодородным.

Эйнар ждёт вечера. Но пока — день, солнце в зените, и ему жарко, даже в одной нательной рубаше.

Он ищет мать.

VI.

Мать стоит у печи, которую вытащили на улицу специально для праздника. Печь большая, глиняная, на колёсах — её толкали сюда всем миром, и теперь в ней пекут лепёшки, пироги с капустой и какие-то сладкие булочки, от которых у Эйнара текут слюнки.

— Мам, — кричит он, подбегая. — Мам, дай мне.

— Остынет — дам, — отвечает мать, не оборачиваясь. — Не вертись под ногами.

Она высокая, темноволосая, с усталым лицом и быстрыми руками. Эйнар похож на неё — та же худоба, те же серые глаза, тот же упрямый подбородок. Когда он смотрит в отражение воды (редко, очень редко — мать научила его бояться отражений, но он тогда ещё не понимал зачем), он видит её черты, её скулы, её улыбку. Материнская кровь. Проклятая

кровь.

Но сегодня он об этом не думает. Сегодня он хочет булочку.

— Мам, я есть хочу.

— Потерпишь. — Она поворачивается, и на её груди что-то блестит. — Сначала праздник, потом еда. Порядок такой.

Эйнар смотрит на блестящее. Это кулон — серебряный, гладкий, на тонкой цепочке. На кулоне вырезано дерево — с корнями, которые уходят вниз, и ветвями, которые тянутся вверх, и стволом, на котором есть даже кора, если присмотреться.

— Красивый, — говорит он.

Мать улыбается. Редкая улыбка — у неё такое лицо, что когда она улыбается, кажется, будто солнце выглянуло из-за туч.

— Это мне отец подарил. Твой отец. В день свадьбы.

— А почему ты его не носишь? Я его раньше не видел.

Мать молчит, потом говорит:

— Боюсь. — И замолкает, будто сказала лишнее.

Эйнар не понимает, чего бояться в красивом кулоне. Он смотрит на блестящую поверхность и видит своё отражение — маленькое, искажённое, с огромными глазами и ртом, сложенным в «о». Это смешно, и он улыбается.

— Дай потрогать.

— Осторожно, — мать растёгивает цепочку, снимает кулон и кладёт на ладонь Эйнару. — Только не урони. Серебро мягкое, может погнуться.

VII.

Кулон оказался тяжёлым. Намного тяжелее, чем думал Эйнар. Он лежал на детской ладони, прохладный и гладкий, и поверхность его была твёрдой и скользкой, как лёд на реке, по которому нельзя ходить — мать запрещала.

— Дерево, — говорит Эйнар, водя пальцем по резьбе. — А это что? Ветки?

— Ветки. Это Древо жизни. Оно растёт в центре мира, и

на нём — все листья, все цветы, все плоды, какие только есть.

— А корни?

— Корни уходят глубоко-глубоко, туда, где мёртвые живут.

— А почему вверх и вниз одинаково?

Мать молчит. Потом говорит:

— Потому что жизнь и смерть — как отражения. Одно без другого не бывает.

Эйнару не нравится слово «смерть». Оно холодное и острое, как лезвие ножа. Он отводит взгляд от кулона, смотрит на мать. Та смотрит куда-то в сторону, на костёр, на людей, на небо — куда угодно, только не на него.

— Мам, — зовёт он.

— Что?

— А почему я не могу смотреться в зеркала?

Мать вздрагивает. Потом наклоняется, берёт его за плечи,

смотрит прямо в глаза — серьёзно, почти страшно.

— Потому что, — говорит она шёпотом, — не все дети такие, как ты. Ты особенный. И то, что ты видишь в отражениях, другие не видят. И они этого боятся.

— А чего боятся?

— Того, чего не понимают.

Она целует его в лоб, забирает кулон, вешает обратно на шею. Цепочка тонкая, серебряная, блестит на солнце.

— Иди играй, — говорит мать. — И не думай о плохом.

Эйнар убегает. Но кулон всё ещё у него перед глазами — блестит, качается на груди матери, отражает свет, людей, небо.

Он думает: «Особенный». Это хорошее слово или плохое?

Он не знает.

VIII.

Дети играют у реки.

Река называется Терновкой, потому что по берегам растёт дикий тёрн — колючий, низкий, с чёрными ягодами, которые сладкие только после первых заморозков. Сейчас лето, ягоды зелёные, твёрдые, их не едят. Но дети всё равно лезут в кусты, потому что там можно спрятаться, и там прохладно, и там водятся ящерицы — быстрые, зелёные, с отбрасывающимися хвостами.

Эйнар не лезет в кусты. Он сидит на траве, смотрит на реку и думает о кулоне. О серебре. О том, как в гладкой блестящей поверхности отражается всё вокруг — небо, деревья, люди.

Он хочет посмотреть ещё. Попросить у матери. Но мать занята у печи, и отец где-то с мужиками, и некому снять кулон с шеи.

— Эйнар! — кричит кто-то. — Иди сюда!

Это Торкель. Сын кузнеца. Ему, наверное, лет десять или одиннадцать — он намного старше Эйнара, и намного больше, и он главный среди мальчишек. У Торкеля светлые волосы, выгоревшие почти добела, и руки в цыпках и царапинах, и голос громкий, командный.

— Иди, говорю!

Эйнар подходит.

Торкель стоит на бревне, которое перекинута через реку. Бревно толстое, старое, поросшее мхом. Один конец лежит на этом берегу, другой — на том. Вода под бревном тёмная, глубокая — здесь, у старой ивы, река вымыла яму, и дна не видно даже в самый солнечный день.

— Смотри, — говорит Торкель и проходит по бревну туда-обратно, балансируя руками. — Легко!

Другие мальчишки — их четверо или пятеро — смотрят с восхищением и завистью. Никто из них не решается повторить. Бревно узкое, мох скользкий, а вода внизу чёрная и холодная, даже летом.

— Слабаки, — усмехается Торкель. — Эйнар, ты?

Эйнар качает головой. Он умеет лазать по деревьям и прыгать через канавы, но бревно над водой — это страшно.

— Испугался, — Торкель сплёвывает в воду. — Все вы трусы. А я — нет. Я даже с закрытыми глазами могу.

Он закрывает глаза и делает шаг. Бревно поскрипывает. Мох скользит под подошвой. Торкель широко расставляет руки, ловит равновесие — и идёт. Медленно, осторожно, но идёт.

— Молодец! — кричат мальчишки.

Эйнар смотрит на Торкеля, потом на воду, потом куда-то в сторону, туда, где у печи хлопочет мать. На её груди блестит кулон.

Он не знает, зачем смотрит. Просто взгляд падает, и серебряная поверхность ловит солнце, и в ней — отражение. Не лица матери. Не неба. Река.

Отражение реки.

Но не той, которая течёт рядом, тёмная и глубокая. Другой. Замёрзшей. С белыми берегами, с серым льдом, с чёрной водой, видной сквозь трещины.

Эйнар смотрит в кулон, и кулон смотрит на него.

IX.

Видение приходит не сразу.

Сначала — только ощущения. Холод, которого нет в летний день. Запах — не мёда и дыма, а сырой земли, гниющих листьев, чего-то кислого и острого. Звук — не крики детей и скрип колодца, а глухой, тяжёлый треск ломающегося льда.

Эйнар замирает. Ему страшно, но он не может отвести взгляд. Пальцы, сжимающие кулон (когда он успел его взять? — мать же не давала, он висел у неё на шее секунду назад), немеют, становятся чужими.

Кулон приближается. Или его взгляд проваливается внутрь. Серебряная поверхность становится глубже, чем должна быть. В ней — не отражение, а окно. Окно в другое время.

Он видит реку.

Но не летнюю — зимнюю. Берега засыпаны снегом, кусты тёрна голые, чёрные, тянутся к небу, как скрюченные пальцы. Река замёрзла, лёд толстый, ноздреватый, с белыми прожилками. На льду стоит прорубь — квадратная, чёрная, как глаз.

Возле проруби стоит мальчик.

Торкель.

Эйнар узнаёт его по светлым волосам и по куртке из овчины, которую Торкель носит всю зиму. Но сейчас Торкель не в куртке — он в одной рубаше, мокрой, облепившей тело. И он не стоит — он стоит на коленях, упёршись руками в лёд, и лёд трескается под ним.

Торкель смотрит в прорубь. В чёрную воду. Оттуда, из глубины, кто-то смотрит на него. Эйнар не видит лица — только бледное пятно, два тёмных провала глаз, и рот, открытый в беззвучном крике.

— Помогите! — кричит Торкель. Но его голос звучит тихо, будто из-под воды. — Помогите, я тону!

Он не тонет. Он ещё на льду. Но лёд трескается всё больше, и под ним — не дно, а бездна, чёрная, холодная, и она тянет его вниз, ещё не тело, а душу.

Эйнар хочет закричать, но не может. Горло сжато, язык прилип к нёбу. Он видит, как Торкель оступается — не по своей воле, его тянет, кто-то хватает его за щиколотку и дёргает.

Торкель падает.

В прорубь.

Вода смыкается над ним. Светлые волосы мелькают в темноте — раз, другой. Рука взмывается над льдом, хватается за тонкую корку, лёд трескается, рука исчезает.

Глаза. Глаза из-под воды. Широко открытые, белые, с точечными зрачками. В них — ужас, которого Эйнар никогда не видел. Ужас человека, который понял, что сейчас умрёт.

И тишина.

Абсолютная, ледяная тишина.

Х.

Видение исчезает так же внезапно, как пришло.

Эйнар стоит посреди летнего дня, сжимая в руке материн кулон. Пальцы белые, заочевенвшие — будто он и правда держал лёд, а не серебро. Вокруг — крики детей, смех взрослых, запах жареного мяса.

— Мам! — орёт он, не узнавая своего голоса — он стал тоньше, выше, испуганнее. — Мам, мам!

Мать поворачивается, видит его лицо — белое, с огромными глазами, — и бросает лопату.

— Эйнар? Что с тобой?

— Кулон! — кричит он. — Я видел, в кулоне! Торкель тонет!

Мать смотрит на кулон. Потом на реку, где дети всё ещё играют на бревне. Торкель стоит на том берегу, живой и невредимый, и смеётся над мальчишкой, который упал в крапиву.

— Что ты видел? — мать опускается перед ним на корточки, берёт за плечи. Сильно, почти больно. — Что ты видел, Эйнар?

— Он утонет! В проруби! Зимой! Я видел!

Мать бледнеет. Ещё сильнее, чем он. Её лицо становится серым, будто пепел.

— Не говори так, — шепчет она. — Никому не говори. Понял?

— Но мам, я видел, я...

— Никому! — Она трясёт его, и кулон выскальзывает из его пальцев, падает на траву. — Молчи! Молчи, слышишь?

Она поднимает кулон, дрожащими руками вешает обратно на шею, прячет под рубаху. Серебро холодит кожу, и мать вздрагивает.

— Забудь, — говорит она. — Ты ничего не видел. Это была игра. Понял?

Эйнар не понимает. Он видел. Ясно, чётко, неотвратимо. Торкель тонет в проруби, а сейчас лето, и проруби нет, и лёд не трещит, и солнце светит. Но видение было настоящим. Он знает это так же точно, как знает, что трава зелёная, а небо голубое.

— Иди, — мать подталкивает его к дому. — Иди, умойся. И не думай об этом.

Он идёт. Но об этом он думает.

XI.

Отец находит его за амбаром, где Эйнар сидит на бревне

и смотрит в землю. Не плачет — слёзы кончились. Просто сидит, обхватив колени руками, и смотрит.

Отец садится рядом. Молчит. Долго молчит — минуту, две, пять. Потом кладёт тяжёлую ладонь ему на макушку, гладит волосы — неловко, неумело, будто в первый раз.

— Мать сказала, — наконец говорит он. Голос низкий, хриплый, как всегда. — Ты что-то видел.

Эйнар кивает.

— Что?

— Торкель утонет. Зимой. В проруби.

Отец молчит. Потом спрашивает:

— Ты видел это сейчас или... потом?

— Не знаю. Кажется, потом. Он был старше. Я не узнал.

Отец вздыхает. Тяжело, со всхлипом — будто у него что-то болит внутри и он не может это вылечить.

— И никому больше не говори, — говорит он. — Ты меня

слышишь?

— Слышу.

— Повтори.

— Никому не скажу.

Отец убирает руку. Встаёт. Смотрит куда-то вдаль, на реку, на костёр, который уже начали зажигать, потому что стемнело.

— Я знал, — говорит он тихо. — Знал, что так будет. Твоя бабка... она тоже видела. И прабабка. Проклятие это, что ли. Или дар. Не пойму.

Эйнар смотрит на отца. В вечернем свете лицо отца кажется старым, усталым, изрезанным морщинами, которых утром не было.

— Я боюсь, пап.

— Бойся. Это правильно. Но молчи. Потому что люди не любят тех, кто видит то, чего не должны видеть.

Отец уходит. Эйнар остаётся один, сидит на бревне, по-

ка костёр не разгорается в полную силу и тени не начинают плясать вокруг, чёрные и страшные, похожие на тех, кто живёт в отражениях.

ХП.

Зимой, через пять месяцев, Торкель утонул в проруби.

Эйнару тогда было семь с половиной, и он уже почти забыл о видении. Дети забывают. Или вытесняют. Или просто растут, и прошлое кажется сном, который не имеет значения.

В тот день было холодно — трескучий мороз, от которого деревья трескались, как сухари. Река замёрзла насквозь, и мужики рубили проруби, чтобы поить скотину. Торкель пошёл с отцом, хотел помочь — или просто посмотреть. Он стоял на краю проруби, нагнулся над водой, и лёд под ним треснул.

Его вытащили через десять минут. Но было поздно. Синий, холодный, мёртвый. Кузнец выл так, что было слышно в соседней деревне. Мать кузнеца упала в снег и не вставала, пока её не унесли в дом.

Эйнар узнал об этом от соседского мальчишки, который прибежал к нему с круглыми глазами и крикнул: «Торкель

утонул!». Эйнар посмотрел на него, хотел сказать: «Я знал», — но вспомнил отцовские слова. И не сказал.

Он не пошёл смотреть. Он сидел дома, в углу, и смотрел на свои руки, на которых не было ни крови, ни снега, ни воды. Чистые руки. Но он чувствовал себя убийцей.

Потом пришла мать. Встала на колени перед ним, взяла его лицо в ладони, посмотрела в глаза.

— Ты видел? — спросила она шёпотом.

Эйнар кивнул.

Мать заплакала. Не громко, без всхлипов — просто слёзы потекли из глаз, одна за другой, скатились по щекам, упали на его колени.

— Прости, — сказала она. — Прости, сынок. Я не должна была давать тебе кулон.

Он не понял тогда, зачем она просит прощения. Понял позже. Когда его начали называть «Мороком». Когда камни полетели в спину. Когда отец умер, глядя на него с таким выражением, в котором было не только усталость, но и страх.

Часть третья: Огонь и серебро

ХІІІ.

Эйнар не помнил, как кулон разбили.

Было или после смерти Торкеля, или позже. В его памяти остались только обрывки: крик матери, тяжёлая рука отца, падающая на стол, звон металла и треск.

Вспоминать это было больно. Но память не спрашивала разрешения.

Он снова видел: дом, вечер, масляный светильник на столе. Мать сидит на лавке, теребит кулон, который снова наде-ла — впервые после того лета. Отец стоит у двери, смотрит на неё, и в его взгляде — не гнев, а что-то другое, похожее на отчаяние.

— Сними, — говорит отец.

— Не сниму. — Мать сжимает кулон в кулаке. — Это моё. Его подарил ты.

— Я был дурак. Сними.

— Нет.

Отец подходит к столу, кладёт руку на кулон. Не вырывает — просто держит, и его пальцы дрожат, как всегда.

— Он видел, — говорит отец. — Из-за него мальчик умер.

— Из-за меня, — мать поднимает голову, смотрит отцу в глаза. — Я дала ему кулон. Я знала, чем это кончится. Знала.

— Зачем?

— Не знаю. Хотела, чтобы он понял. Понял, кто он. Или что он.

Отец выпрямляется, отворачивается. Стучит кулаком по косяку — глухо, бессильно.

— Что теперь будет? — спрашивает он.

— Ничего. Теперь он знает. А мы — будем жить.

Эйнар стоит в дверях, смотрит, слушает. Ему холодно, хотя в доме жарко натоплено. Он хочет заговорить, но не знает,

что сказать. Слов нет. Слов вообще не было в тот вечер — только молчание, только взгляды, только звон серебра, когда кулон упал на пол и покатился в угол.

XIV.

Кулон разбили позже. Не отец — мать.

Это случилось через несколько дней после смерти Торкеля. Эйнар помнил, как мать вышла на улицу, держа кулон в руке. Снег скрипел под её сапогами. Мороз щипал лицо, и она щурилась, но шла прямо, не сворачивая, к кузнице.

— Зачем, мать? — спросил кто-то из соседей.

Она не ответила.

Она вошла в кузницу, где кузнец — отец Торкеля — сидел на скамье, сгорбленный, молчаливый. Он поднял голову, увидел кулон, и его лицо исказилось. Не гневом — болью.

— Уйди, — сказал кузнец.

— Разбей, — ответила мать.

— Уйди, говорю.

— Разбей его. Ты должен.

Кузнец встал, взял молот. Молот был тяжёлый, кузнечный, с длинной рукоятью. Он поднял его, но не ударил — замер, глядя на мать.

— Он не виноват, — сказал кузнец. — Твой сын не виноват. Я знаю.

— Виноват. Или не виноват. Какая разница. Люди будут знать, что он видел. И будут бояться. А если кулона не станет — может, и видеть перестанет.

Кузнец медленно опустил молот. Потом взял кулон, положил на наковальню. Ударил — раз, другой, третий. Серебро сплющилось, треснуло, разлетелось осколками. Один осколок отскочил, упал к ногам матери. Она нагнулась, подняла, положила в карман.

— Спасибо, — сказала она.

Кузнец не ответил. Он сел на скамью, уронил голову на руки, и заплакал — тихо, по-мужски, без звука.

Мать вышла. Снег скрипел под сапогами. В руке она сжи-

мала осколок — тот самый, который теперь лежал в берестяном коробе, завёрнутый в тряпицу.

XV.

Осколок был острым.

Эйнар помнил, как мать разрежала им палец, когда вынимала из кармана. Кровь капнула на снег — яркая, красная, похожая на ягоды.

— Мам, ты поранилась, — сказал он.

— Это не больно, — ответила мать. — Это намного меньше боли, чем ты, наверное, думаешь.

Она улыбнулась ему — той улыбкой, которая была и улыбкой, и гримасой, и чем-то ещё, что он не мог понять в свои семь лет, но понял позже, когда вырос. Отчаяние. Она улыбалась отчаянию в лицо, потому что больше не могла плакать.

Она положила осколок в короб — тот самый, который сплела для его «сокровищ», — и сказала:

— Никогда не смотри на него. Никогда. Это самая опасная

вещь, какая у тебя есть.

— Опаснее ножа?

— Намного.

Эйнар не понял тогда. Ножом можно порезаться. Ножом можно убить. А серебряный осколок — что он может сделать? Поранить палец, не больше.

Но потом, когда он вырос, когда дар стал сильнее, он понял. Осколок был не просто куском серебра. Он был памятью. Памятью о первом видении, о первой смерти, которую он не смог предотвратить. О том, как люди, которые должны были его любить, смотрели на него с ужасом.

И осколок, если смотреть в него, мог показать не только прошлое. Он мог показать будущее. Как и любое зеркало. Как любая гладкая поверхность. Как вода, как лёд, как чей-то взгляд, если в нём отражается свет.

Часть четвёртая: Возвращение

XVI.

Эйнар сидел на полу, прижавшись спиной к лежанке, и сжимал в кулаке завёрнутый в тряпицу осколок. Хижина остыла, и холод пробирал сквозь одежду, но он не замечал.

Воспоминания нахлынули и ушли, оставив после себя пустоту. Такую же, как после смерти матери. Такую же, как после того, как его выгнали из деревни в первый раз (и во второй, и в третий, пока он не перестал возвращаться и не поселился здесь, на отшибе).

Он разжал кулак, посмотрел на тряпицу. Серая, льняная, вытертая — та самая, которой он когда-то завешивал ведро. Теперь она лежала на его ладони, и под ней — осколок памяти. Буквально. И метафорически.

— Зачем я это достал? — спросил он вслух. Голос был хриплым, чужим, будто говорил не он, а кто-то, кто жил в нём много лет и наконец решил подать голос.

Ответа не было. Только ветер за стеной выл, тонко и жалобно, как щенок, которого бросили в лесу.

Эйнар медленно развернул тряпицу. Осколок блеснул — даже в полумраке, даже без огня. Серебро отразило что-то, чего не было в хижине. Свет? Тень? Или просто его

собственная усталость, которая стала такой плотной, что её можно было увидеть?

Он не стал смотреть в осколок. Он знал: если посмотреть, видение придёт. Не сейчас, может быть, через минуту, через час, но придёт. И он увидит то, что не хочет видеть. Чью-то смерть. Или свою.

— Нет, — сказал он твёрдо. — Не сегодня.

Он завернул осколок обратно, положил в короб, затянул ремешок. Поставил короб на место — под лежанку, в ямку, вырытую в земле. Задвинул подальше, чтобы не достать случайно, во сне, в бреду, когда дар будет сильнее разума.

Потом встал, подошёл к печи, подбросил дров.

Огонь занялся не сразу — пришлось повозиться с трутом и кремнём, пошевелить угли, подуть. Но через несколько минут пламя уже весело потрескивало, разгоняя темноту, и тепло начало возвращаться в хижину.

XVII.

Эйнар сел на скамью, вытянул ноги к печи. Валенки были мокрыми — он не заметил, когда промочил их. Наверное,

когда ходил к колодцу за водой, или когда нёс соль и муку из деревни, или когда просто стоял на снегу, глядя в небо и думая о том, что жизнь могла бы быть другой, если бы не тот день, если бы не кулон, если бы не проклятый дар.

Но жизнь не была другой. И дар не исчез. И кулон лежал в коробе, и осколок ждал своего часа, и Торкель всё равно был мёртв, сколько бы лет ни прошло.

— Я не виноват, — сказал Эйнар вслух. — Я был ребёнком. Я не знал, что это случится. Я не хотел, чтобы он умер.

Слова повисли в воздухе, пустые и бессмысленные. Стены хижины не слушали. Печь не слушала. Ветер за стеной — и тот не слушал. Только он сам.

— Но я видел, — добавил он тише. — И не смог остановить. И не смогу никогда. Никого.

Он закрыл лицо руками. Ладони были холодными, шершавыми, пахли дымом и кровью. Он сидел так долго — минуту, пять, десять, — и не плакал. Слёзы давно кончились. Ещё тогда, в детстве, когда люди смотрели на него с ненавистью и страхом, а он не понимал, чем заслужил это.

Потом он убрал руки, поднял голову.

XVIII.

Ведро в углу стояло накрытое тряпкой. Он сам проверил её сегодня утром — перед выходом в деревню. Тряпка лежала ровно, не сбилась, не сползла. Но за день, пока он ходил, могло случиться что угодно. Ветер мог задуть в щель, сдвинуть край. Мышь могла пробежать, зацепить лапкой. Он сам мог — не заметить, не поправить.

Эйнар подошёл к ведру, замер на расстоянии вытянутой руки. Протянул руку, взял край тряпки. Поднял.

Вода была тёмной, почти чёрной. Отстоявшаяся, без ряби, без пузырьков воздуха. Гладкая, как зеркало.

В ней отражалось его лицо.

Не то, которое было в видениях — искажённое, кричащее, умирающее. Обычное. Усталое. С тёмными кругами под глазами и глубокими морщинами между бровями. Седые волосы на висках — он заметил их только сейчас, хотя они, наверное, были уже давно.

Он смотрел на своё отражение, и отражение смотрело на него. Никаких видений. Только он сам. Только тишина.

— Здравствуй, — сказал он своему отражению. — Давно не виделись.

Отражение не ответило. Оно только смотрело — устало, спокойно, без страха.

Эйнар опустил тряпку обратно, пригладил ладонью, подогнул края.

Потом подошёл к печи, налил ковш горячего настоя, выпил залпом. Горечь обожгла горло, и это было хорошо. Боль от горячего отвлекала от мыслей.

XIX.

Он лёг на лежанку, натянул овчину до подбородка. Печь потрескивала. Ветер за стеной стихал. Где-то далеко в лесу ухнула сова — один раз, коротко, и замолкла.

Эйнар закрыл глаза.

— Я не хочу больше видеть, — прошептал он в темноту. — Не хочу знать, кто умрёт завтра. Не хочу смотреть в отражения и бояться. Я устал.

Тишина была ответом.

Никто не обещал, что дар можно отдать обратно. Никто не говорил, что будет легко. Он сам выбрал эту жизнь — не выбрал, конечно, она сама его выбрала, но он мог бы сдаться, умереть, уйти в лес и не вернуться. Он не сдался. Он выжил. И теперь сидел здесь, в своей убогой хижине, на отшибе Серых Холмов, и боялся смотреть в ведро с водой.

— Завтра будет новый день, — сказал он. — И я снова пойду в лес. И буду охотиться. И буду жить. Потому что это всё, что я умею.

Он повернулся на бок, подложил ладонь под щёку. Овчина пахла дымом и потом — привычно, успокаивающе.

XX.

Сон пришёл не сразу.

Он лежал, слушал, как дышит печь, как потрескивают угли, как ветер гладит стены хижины, словно проверяя, не сломались ли они, не поддались ли морозу. И думал.

О матери, которая подарила ему кулон и тем самым открыла дверь в мир отражений.

Об отце, который молчал, когда нужно было говорить, и говорил, когда нужно было молчать.

О Торкеле, который утонул в проруби, потому что Эйнар увидел его смерть, но не смог предотвратить.

О людях, которые боялись его, потому что он видел то, чего не должны видеть люди.

И о себе. О том, кем он стал. Охотник. Изгой. «Сын Пепла». «Морок». Человек, который не смеет смотреться в зеркала, потому что в них — смерть.

— Но не только смерть, — вдруг сказал он вслух. — Я видел и другое. Старика на поляне. Себя. Умирающего с улыбкой. Может, там, в отражениях, есть не только конец. Может, есть и начало.

Он не знал, правда это или ложь. Но в этой мысли было что-то тёплое, что-то, что помогало уснуть.

Он провалился в сон, и во сне не было ни отражений, ни смертей. Только летний день, зелёная трава, серебряный кулон, блестящий на солнце, и мать, которая улыбается ему и говорит:

— Не бойся, сынок. Всё будет хорошо.

Он проснулся затемно, и на щеке его была влажная дорожка.

КОНЕЦ ГЛАВЫ 4

ГЛАВА 5. ТАНЕЦ ВОРОНОВ

Часть первая: Утро после воспоминаний

I

Он проснулся от того, что печь погасла.

Не от холода — холод был привычен, он научился спать в нём, как спят в мокрой одежде — смирно и без надежды на тепло. От тишины. От той особенной, липкой тишины, которая наступает, когда угли перестают потрескивать и даже ветер затихает, будто боится разбудить того, кто живёт в этой тишине. Тишина была плотной, почти осязаемой — её можно было резать ножом, как замёрзшее масло. Эйнар лежал и слушал, как внутри этой тишины рождаются другие звуки: собственное дыхание — хрипловатое, с левой стороны, там, где прошлой зимой прихватило лёгкие; редкие капли талой воды, падающие откуда-то с потолка — наверное, снег под-

таял от вчерашнего тепла, а потом снова замёрз, и теперь потихоньку оттаивает; мышь, скребущаяся под полом, — глухо, настойчиво, будто она строит гнездо или грызёт корку забытой лепёшки.

Эйнар лежал на спине, глядя в потолок, где в щели между брёвнами серела ранняя заря. Небо только начинало светлеть — бледной, болезненной желтизной, которая не предвещала солнца, а обещала тяжёлый пасмурный день. Он не пошевелился. Тело было тяжёлым, налитым свинцом, будто он не спал, а провёл ночь, таская камни на гору. Голова гудела — глухо, с переливами, как далёкий колокол, который ударяют раз в минуту, и каждый удар отдаётся в висках, в затылке, в глазах.

Вчерашнее сидело в нём.

Он достал короб. Он развернул тряпицу. Он смотрел на осколок — нет, не смотрел, он только держал его в руке, зажмурившись, крепко-накрепко, так, что серебро впилося в ладонь острыми краями, оставив на коже красные полосы — следы, похожие на царапины от кошачьих когтей. Но память всё равно хлынула. Она не спрашивала разрешения. Она пришла сама, как приходит вода в прорванную плотину — неудержимо, яростно, сметая всё на своём пути.

Летний праздник. Запах жареного мяса и медовых лепёшек. Костёр, который ещё не зажгли, но уже сложили — высокий, из сосновых брёвен и берёзовых веток. Мать в белой рубашке, вышитой по вороту красными нитками. Кулон на её груди — серебряный, гладкий, с вырезанным на нём Древом жизни. Кулон, который блестел на солнце и отражал всё вокруг: небо, деревья, людей, детей, бегающих между взрослыми.

И он — маленький, семилетний, с пыльными коленями и разбитым локтем (упал с забора, когда гнался за ящерицей). Он смотрит на кулон. Он хочет его потрогать. Мать снимает цепочку, кладёт кулон на его ладонь — тяжёлый, прохладный, скользкий. И в этой гладкой поверхности, в этом маленьком серебряном зеркальце, он видит не себя — прорубь, зимний лес, мальчика, который тонет в чёрной воде. Торкеля. Сына кузнеца. Торкеля, который стоит на бревне над рекой и смеётся, а через минуту — нет, через пять месяцев — будет лежать на льду, синий, холодный, мёртвый, с открытыми глазами, полными ужаса.

Эйнар не хотел вспоминать. Но память была сильнее его воли.

Он видел лица — матери, отца, кузнеца, который разбил кулон молотом на наковальне. Слышал звон серебра — рез-

кий, высокий, похожий на крик. Чувствовал запах — дыма, пота, страха. Тот самый запах, который преследовал его всю жизнь, который въелся в одежду, в стены хижины, в кожу. Запах человека, который знает, что его боятся, и ничего не может с этим сделать.

Эйнар закрыл глаза снова, но веки не спасали от воспоминаний. Они были под веками, в темноте, на внутренней стороне черепа — яркие, болезненные, как ожог, который не заживает годами. Он знал: чтобы прогнать их, нужно встать. Нужно двигаться. Нужно делать что-то руками — колоть дрова, скоблить шкуры, месить тесто. Что угодно, только не лежать и не вспоминать.

— Вставать, — сказал он вслух. Голос прозвучал глухо, с хрипотой. — Вставай, Сын Пепла. День не ждёт.

Он сел, свесил ноги с лежанки. Пол был холодным — пятки нащупали знакомые неровности: ямку у левой ножки, камешек, вмёрзший в землю, ложбинку, которую протоптали его собственные шаги за десять лет. Он пошевелил пальцами ног в шерстяных носках. Носки были штопанные, в трёх местах, дыра на правом мизинце снова расползлась — нужно было зашить, но не сегодня. Сегодня нужно было идти в лес. Лес лечил. Лес заставлял забывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.